

Галина Щекина

# Речь о реке

Посвящается поэту Михаилу Сопину

Издательские решения  
По лицензии Ridero  
2016

УДК 82-3  
ББК 84-4  
Щ38

**Щекина Галина**

Щ38 Речь о реке: Посвящается поэту Михаилу Сопину. — [б. м.]:  
Издательские решения, 2016. — 108 с. — ISBN 978-5-4483-0726-3

Авторский сборник, посвящённый вологодскому поэту Михаилу Сопину, включает в себя поэму о поэте, записи его воспоминаний и размышлений, статьи-эссе о его жизни и творчестве, материалы обсуждения первой книги о нем.

**УДК 82-3**  
**ББК 84-4**

18+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

© Галина Щекина, 2016  
© Лариса Юрьевна Новолодская,  
фотографии, 2016  
© Зоя Елизарьева, корректор

ISBN 978-5-4483-0726-3

## ГОРЬКАЯ ПОЭМА

1  
Перебранка шла, пикировка,  
Отчего-то было неловко,  
Отчего-то ранила сразу  
Лишь одна нелепая фраза  
«Муж, которого посадили».  
Как поспешно о нем судили  
И хлестали — и те, и эти.  
Пустота без него на свете.  
Пересуды — морозным паром,  
А в ночном троллейбусе старом  
Загремели римские речи,  
Завизжали шквалы картечи.  
Он бурлил помпейскою лавой,  
Угрожал общественной славой,  
Ядовит, но точен о — главном,  
А вообще оказался славный.  
Подступала злая минута —  
И к нему пошли, не к кому-то.  
На вопрос — всегда многоточье  
И подарки разнес на клочья.  
Верх безумия и беспечность,  
Матерясь, уносился в вечность.  
Он великий, да, и не очень —  
Не стихками он озабочен,  
Их держал, как гвозди во рту,  
Их кричал в сивушном спирту.  
Он ли падал — вор или князь —  
Головою в мерзлую грязь,  
Да в окурки, снег и песок  
Не его ль впечатан висок.

А людская память мелка —  
 Не простят его потолка:  
 Понимал поколение, век —  
 На родных не поднявши век.

2

Рванулся прочь от злобы и зверья,  
 Испил сырец — лекарство от печали —  
 Он свой среди подонков и ворья,  
 Едва от матери отчалив.  
 Учили бить и насмерть добивать —  
 Умел любить до лютого озноба.  
 До края неба криком доставать,  
 Идя от гроба и до гроба.  
 Пинком за водкой, как шлюшонку шлют,  
 Гонял он музу, девочку простую.  
 Сгустился взрыв, прощальный, как салют! —  
 Сгорел, от жалости лютуя.

3

Он был черен, и худ, и ободран, —  
 Арестовано солнце за тучей —  
 Был насмешливо легок и бодр он,  
 Невозможный, ничей, неминуемый!  
 Он родился, когда убивали,  
 Среди горя и тленности выжил,  
 Рай мифический нужен едва ли,  
 Ад крошечный привычнее, ближе.  
 Так возник человек издадека —  
 Вечный путник без сна и приюта,  
 И повел он презрительным оком,  
 Явно знак подавая кому-то.  
 Подносили шипучие кубки —  
 Отвергал и еду и напитки.  
 Признавал лишь отраву и трубку,  
 Диких песен измятые свитки.

4

Поверьте, жаль, что мне не суждено  
 На пару с вами пить четыре белых,  
 Но потрясение — стихом порождено,  
 Как плетью дёрнет — сердце ослабело...  
 Смутитель, хулиган — и в судный день  
 Не очень-то покорный и приличный,  
 Но что на тело птичье ни надень,  
 Проступит кровью через ткань величие.  
 До этих молний явно не достать  
 И клетку не вторить щебетаньем.  
 Колючий жар печатного листа  
 Да сохранит от новых испытаний!  
 Не стану врать, что знамя подхвачу  
 Для прошлых и грядущих революций.  
 Сквозь слезы улыбнусь щербатым блюдцем:  
 Я до бессмертья вас застать хочу.

5

Добираюсь до вас только к ночи.  
 А насчет этой новой подборки —  
 Понимает вас тот, кто смириться не хочет, —  
 Гениально от корки до корки.  
 Не волнуйтесь, зашла на минуту —  
 Вам оставить журнал и лекарство.  
 Мне назначено в шесть к институту,  
 Страшный дождь и в дороге мытарство.  
 В перегруженной памяти вашей  
 Я осталась в заляпанных ботах,  
 В детских двойках и рисовой каше —  
 Хохоча, и в слезах, и в заботах.  
 Но, скрывая тоску и усталость,  
 Удаляясь, как эхо аккорда,  
 Как собака с задумчивой мордой,  
 У дверей я осталась, осталась.

6

Кому поставить в вину  
Всю эту темень и чад?  
Пора бы детям ко сну,  
И взрослый рухнуть бы рад...  
Но горечь, нечем дышать,  
За дверью снова шаги,  
И горло сушит закат.  
Ты выживи, ты солги,  
Что папа твой на войне,  
В руке сжимал пистолет,  
Вон карточка на окне.  
Тебе — всего десять лет...  
Что в бабкины погреба  
Вела траншея-подкоп,  
Что от горящего лба  
Пробьется дикий озноб,  
А братику не вставать —  
Он сонный и не жилец.  
Завоют бомбы опять,  
Скорее бы всем конец...  
Скорей в родные холмы,  
Где горы мертвых солдат.  
От Курска до Колымы  
Они в шинелях лежат.  
В закатном пекле войны  
Ребенок жизни не рад,  
Ушел, поддернув штаны,  
Спасать отставших солдат...

7

Дождь и град — свинцовым соло.  
Снег и ветер — треск одежд.  
Да, умел ты быть веселым,  
Не теряющим надежд.  
В том краю колючих линий,  
Где последний перевал,

В человеческой пустыне  
Ты судьбу одолевал,  
Глядя ей в пустые очи,  
Выговаривал слова,  
От которых кровь клокочет,  
И светлеет голова.  
Мальчик в разбомбленном поле,  
Ангел твой к тебе успел,  
Чтобы ты в глухой неволе  
Долю мытаря пропел!  
Не сойдешь на полустанке  
В огуречную грядку —  
Там прошли чужие танки,  
Там я мысленно пройду,  
Потому что дни и годы  
Догораем мы поврозь,  
На хрустальные погоды  
Окончание пришлось.

8

Речь о реке — прародине отцов,  
Свернувшейся в холодное кольцо  
Не на руке, на шее у страны  
Под плач и вой, горячечные сны.  
Речь о реке из берегов — навзрыд  
Катящийся в столбцы и строки взрыв.  
И о тоске по той реке уплывшим,  
Живым теперь и прежде жившим.  
В поток чужих страданий — взгляд с моста  
И боль от попаданий тысяч ста,  
Казненного пророка слово лишь —  
Любви навек, как тюрем, — не простишь.  
Изгиб реки, что стылой бездной дышит, —  
В ней облака и сорванные крыши —  
Изгиб руки у лба бессонной ночью.  
Мольба за жизнь, которая клокочет.

9  
 И пьет она — и пьет неутолимо,  
 Но это не оправдывает климат —  
 Всё пересохло в горле у земли,  
 Всё вытянули травы, что могли.  
 Как холодна она и молчалива,  
 Пока ее напитывает ливень!  
 Пускай могильной раной зарастает  
 Один из тех, кто пел о серых стаях.  
 А мы хотели в бархате и лентах  
 Сокрывать скорей беспомощность момента?  
 Отдернув руку, — ты, земля, бери  
 И поминай пыланием зари.  
 А может — прыгнуть и укрыться в яме  
 Под хрусткими и белыми цветами?..  
 Тела посеем — горе пожинать,  
 Земля же принимает, как жена.  
 Молчи и пей дожди, зажмуря веки,  
 Речь о реке и речь о человеке,  
 Который — свет, пока не скрыла мгла,  
 Пока судьба настигнуть не могла.

10  
 Ни плеску речному, где сонная рябь,  
 Ни блеску поляны, где бьют глухаря,  
 Не станете грохотом пули мешать,  
 Поймавшись на запах костра-кулеша.  
 Топчан. Холодильник. Оконный проем.  
 Машинка печатная, с нею вдвоем  
 Всё курите «Астру» от всех втихаря —  
 Вот ваше пространство, где годы горят.  
 Поэтово логово, с пепла начнись,  
 Летящего вниз, уносимого ввысь!  
 А дождь, нескончаемый дождь за окном,  
 Напомнит пускай о потоке ином,  
 Бегущем на землю к той самой реке,  
 Где мы умираем от вас вдалеке.  
 И смотрим бессильно в оконный проем,  
 И в небе ненастном куда-то плывем...

## РЕЧЬ О РЕКЕ

Литературная запись авторской речи  
 Михаила Сопина — Галина Щекина.  
 Общая редакция — Татьяна Сопина

### ЧТОБЫ ВРЕМЕНЕМ НЕ СМЫЛО

При жизни поэта были две попытки запечатлеть его образ — это сделали Вера Белавина в документальной повести «Нет, жизнь моя не горький дым» и Галина Щекина в литературной записи «Речь о реке». Последняя относится ко второй половине девяностых годов. Не избалованный вниманием, Михаил охотно отвечал на вопросы, рассказывал о себе, о процессе творчества. Это происходило у нас дома или на улице. Помню длительную беседу в беседке детского сада...

Галина старалась записывать точно, однако здесь была сложность. Дело в том, что муж не относился к тем, кто сразу гладко чеканит мысли — как это, к примеру, случается с крупными руководителями. Его мышление — всегда процесс. Он нуждался в собеседниках, выстраивал свой внутренний мир, он ведь «пахал по целине». Тем не менее, в стихотворную строку процесс никогда не выходил (стихи по наитию как «поток сознания» Михаил вообще не признавал). Он очень строго и уважительно относился к печатному слову. Всё лишнее отсекалось в процессе работы.

Брать интервью или записывать за ним было... «невозможно» (выражение Г. Щекиной). Он мог долго «буксовать» на одном и том же, а потом, перескакивая через какие-то ему одному ведомые хребты и долины, говорить совсем о другом. Так он нащупывал нить к парадоксам и откровениям, поражающим в законченных произведениях.

Мне самой не раз приходилось работать с мужем. Говорит — я записываю. Прочитываю. Всё, говорит, не так. Начинает поправлять, увлекается, и получается совсем другая запись. Так может происходить пять-шесть раз, и всё разное. В каждом варианте что-то ценное новое, что-то потеряно. Выстраиваю, убеждаю... А он всё не удовлетворен. Лучше бы, конечно, чтобы он сам сформулировал, как хочет, но тогда это уже станет стихами.

Отсюда — известная рваность документальной записи «Речь о реке», которая автором повести удачно разделена на «потоки». Щекина хотела представить поэта как стихию, и ей это удалось.

Образ узнаваем. Хорошо ощущаю за строчками образ мужа — его манеру изложения, даже голос как будто слышу, вижу жесты. Однако при подготовке к публикации я произвела редактирование. При жизни Михаила запись была прочитана у нас дома, не на всё муж дал согласие. Исключены также исторические и биографические несоответствия.

*Татьяна Сопина*

### **ПОТОК ПЕРВЫЙ. ПОЧЕМУ?**

Жизнь состоит из циклов от рождения до смерти... Под этим я подразумеваю то, как пишу. Стихи — это то, что я понял и что надо сформулировать. И я ищу, как это сделать. Это своеобразная ниша для перегруженного сознания, постоянные изменения, цепь их — процесс. Так идет анализ сущего.

Я всегда расшибался и расшибаюсь о нежелание людей думать, анализировать. Мое спасение было именно в привычке анализировать. И я пытался говорить об этом, но редко встречал вездливые глаза... Наталкивался на глухоту, на ненависть. А во мне уже было всего до отказа, и я хотел на равных. После столкновения во мне всё перегорало, и оставалась только жалость. И чем они плоскоглазее, тем их жалче. Но на границе перегруза снова начинались «сумленья» — не идет баланс, когда уходишь от деления на черное и белое.

Чем больше пишу, тем сильнее ощущаю свое неумение. Поневоле возвращаюсь к началу пути. Вот и происходит цикл возрождения, новое рождение.

Я с печальной улыбкой смотрю на зеркального мальчика Сопина. Мы с ним разные люди. У меня идет вечное рождение, я оглядываюсь, смотрю. Мы идем на разлет, отдаляемся.

Я родился сверхэмоциональным, и это навсегда окрасило меня барьером страха. Жизнь вливалась в меня до отказа, одно вытесняло другое, как при сосисочной набивке.

...Запомнил слом тридцать седьмого года. Постоянно висящее солнце, которое слепило, но не грело. Мне шел седьмой год, мы с пацанами всю игрушку играли во врагов народа. До тех пор, пока после вызова на второй допрос не исчез отец.

Я был тогда маленький, но не отношу себя к тем, кто говорит, что ничего не знал. Трагедия висела над отцом долго, от детей уже ничего нельзя было скрыть. Ночные разговоры взрослых мешали нам спать. Наверно, отец чувствовал конец, и эти ночи были для него попыткой продлить жизнь. Он запил. Такого раньше не было — серьезный выдержанный человек, военпред на Харьковском танковом заводе. Он пил, сжимая в руке партбилет, потом плакал... В первый и последний раз я видел отца таким. Умудрен я потом стал, научился водку пить — «питие мое», но тогда меня это раздавило. Мы с отцом были неразъёмны, как формула... Он исчез (был арестован), но вернулся, а вскоре «скончался от скоротечного распада легких». Какой там распад? Здоровый, сильный мужик. Даже я, ребенок, не мог поверить в такую «скоротечность».

Отец да дед были у меня большевики, но вообще у нас в семье было наворочено — дроздовцы, махновцы... У бабушки было шестеро братьев, они носились на конях, свирепели, врываясь друг к другу с оружием. Однако при бабушке не смели.

Один из дядей — красный комиссар (бывший белый) — и другой, служивший при немцах в полиции, учили меня добивать людей в ухо. Чем было спастись от такой отравы? Беременеть начинкой и смирять ее до тех пор, пока не взорвется?

В 1939 году арестовали родителей моих друзей по двору. Детей осталось трое: два мальчика и старшая сестрёнка лет четырнадцати-пятнадцати, в которую я был тайно, до рыдания, влюблен, так что родители, посмеиваясь, обещали нас поженить. Ребята остались одни, и я таскал им хлеб пеклеваный, был такой хлеб очень вкусный, я сам его очень любил. И вот совершенно необъяснимо для самого себя (тогда! (сейчас-то я понимаю, это было гипертрофированное чувство сострадания) я пошел к магазину и у входа-выхода стал просить милостыню, крестясь и кладя поклоны. За этим занятием меня обнаружила наша учительница Ксения Михайловна Мухина. Человеком для пацанвы она была добрым, но время было злое. И вот на очередном поклоне я ощутил невыносимую, зверскую боль — она крутила мне ухо, не просто крутила, а рвала остервенело, что-то приговаривая при этом. Сейчас я думаю, что, причиняя мне страдания, она хотела избавиться от чего-то в самой себе. Может быть, она перед кем-то или перед чем-то сама вела себя так же, как я, кланялась, заискивала, только втайне.

Я рыдал без слов, с болью и внутренней сладостью — страдаю для ребят — от сопричастности, что ли... Гипертрофированное сострадание — крестный знак нашего рода, может не у всех, но у кого-то, над кем-то он был. Дед Никита, более-менее безболезненно пройдя процедуру раскулачивания, ни с того ни с сего стал оговаривать себя, распускать молву, что у него припрятано про черный день. Плевать он хотел на коммунальщиков, хватит и на приобретение нового хозяйства, и на то, чтоб голодрань беспортошную, этих лодырей, скупить с потрохами...

Был взят, доставлен куда надо, зверски бит шомполами. Когда били, поднимал голову и кричал: «Объединяйтесь, пролетарии, над бездной кровавой, перед гибельной дорогой». Об этом рассказывала бабушка. А на ее вопрос: «Зачем ты дразнил их, зачем выкрикивал, обозлял?» — отвечал: «Молчать, опускать голову, закрывать глаза надобно тогда, когда устанут пилатствовать, а пока бьют, в глаза глядеть надобно, так разумею». Прожил он после этого один день.

Всё перемешалось... Семнадцатый год был для меня романтикой, комиссар всё равно что святой, но благодаря родне я никогда не мог принять окрас — разделение на красных и белых. В числе моих сверстников выкалывал глаза маршалам Егорову и Тухачевскому. А в сорок втором при немцах время словно опрокинулось на полвека вспять. Открылись церкви, я присутствовал на крещенском водосвятии.

Как приблизить груз яда и противоядия? Ведь всё сущее в нас и из нас. Самое опасное — не давать отчет будущему. Мы можем минировать память и неосознанно программировать идиотизм наших близких... Любое непродуманно выплунутое слово способно разрушить человека. Наша несуразность и скотскость материализуются и наполняют эфир. Может, мы не чувствуем, но они носятся там, эти гадостные токи. Еще немного, и наука научится их улавливать. Выходить на них, как на обычные волны. Когда я начинаю в компании так говорить, собеседникам становится опасно: «Раз ты этакий, иди на...» Они не хотят такого русла и вот-вот хрястнут меня. Я ухожу обижаться...

Я болен отличием от других. Ну и что, если они вурдалаки? Их тоже запрограммировали — так же, как вас, как и меня. Чего ж мы цапались-то? Приятель Леша был вместилищем своих и чужих идей, в том числе и вредных для него, но, когда на него покушались, бесился. («Дай правую руку!» — «На, только дай выпить, больно же...»)

Я находил и терял людей глазами. Бородулин на поселении говорил: «Не переносу плотность населения и коллективность в любом виде». Но ведь человек живет не ради постижения какого-то одного человека или даже группы, а вообще для всего мира. Он должен хотя бы стараться понять — что произошло. Почему нет, а не да? Я не знаю, хорошо им или плохо, и это меня сдерживает... А когда пишу, думаю — не боюсь ли быть обкраденным?

В двадцать четыре года стал писать дневник. Перечитывал и понимал — пора чистить, выгребать утробную грязь. Она может рвануть, переполнив... Судил я тогда обо всём позиционно, на

мне было давление нашей «культуры», то есть халтуры в виде культуры.

Партийное сумасшествие тоже сделало свою злую работу, утвердив рабоче-крестьянский метод бытия и мышления. Лишь бы на крестики-нулики всё разделить... Брел по пояс в общественном дерьме, ерошился.

Почему стал писать? Однажды мне на встрече задали тот же вопрос. Я сказал: «А почему Саманта Смит писала президенту? Почему? Вам не приходило в голову, что газовые камеры применять необязательно? Можно духовно сдохнуть без камеры».

Пионер Советского Союза, я разрывался на части: чем сильнее искал человека, тем глубже забирался в ров. Отсюда моя любовь и дружба. Как только случалась вспышка понимания — это дорого! — начинал чувствовать разлуку. Мной «объедались» женщины в любви, а мужики в дружбе. Процедура контакта ощущалась мною как в первый и последний раз, и они уставали. Вслепую я это делал или специально? Говоря по-земному: жалко иметь близкого близко...

В детстве я много прополз по скверне войны. Были и друзья, но всегда старше меня. Детприемники, окружения, бомбардировки... Выводил наших через немецкие территории. Рос плохо...

Видел ли эсэсовцев? Здесь дело не в форме, серая она или зеленая. Тот, кто бьет меня до хруста и писанья кровью, тот и эсэсовец.

Я пил пацаном спирт. Видел смерть обрубков людей. Наверно, понимал солдатиков, потому и жизнь врага, и нашу жизнь видел с изнанки. И тех, и других бросили в военную мясорубку, чтоб она задохнулась. Я ничего не выискивал, просто был повергнут, мордой в это ткнут, потому что изначально был приговорен к тому, кому хуже. К пристреливаемой лошади, к перееханной собаке... По телевизору всегда болею за тех, кто проиграл. Такая природа.

Жалел наших, немцев, много было хороших немцев, которые перестрадали. И потому стал понимать: война — это расплата за скотскость, за то, что общество не может сказать «хватит».

## ПОТОК ВТОРОЙ. СОЛДАТСТВО

После гибели отца нас с сестренкой увезли в деревню к бабушке. Потом — война.

У нас во дворе частями Красной Армии были прорыты профильные окопы, потом брошены. Окопы ошибочно выкопали за избой, а дом таким образом оказался на линии огня. Начались тяжелейшие бои. Однажды во двор заскочили двое молоденьких солдатиков и прямо перед окнами стали устанавливать пулемет, но никак не могли его заправить.

Бабушка выскочила из избы с поленом: «Куда ставите, сейчас начнут бить по хате, а здесь дети малые!» Велела тащить пулемет на угол двора и там сама заправила пулеметную ленту.

Когда начинали бить орудия, мы с Катериной бежали прятаться в погреб. Бомбежки продолжались по трое-четверо суток... Я был в зачумленном состоянии. Когда сутками напролет бомбят, перестаешь испытывать страх за жизнь — безразличие полное. Хотелось спать. Я не думал, убьют ли меня, закрывал маленького братишку Толика, он тогда живой был.

В таком состоянии солдаты, измотанные, спят прямо в окопах. Сейчас это совершенно не может быть понято... Скорее бы бомба попала, кончились бы муки.

Как сейчас вижу солдатика с оторванной рукой: он сидел, привалившись к избе, обнял уцелевшей рукой остатки пустого рукава и раскачивался из стороны в сторону... Не знаю, отдавал ли себе отчет в происходящем.

Между Ново-Борисовкой и Хотмыжском были двойные-тройные переходы наших и немецких войск. Подолгу лежали волдыреобразные тела советских солдат, подступы к Ломному были усеяны ими. Наши врывались в какофонию бомбежек и, случалось, обстреливали свои же позиции...

Проходила РОА — русская освободительная армия (вторая ударная) Власова, кто-то присоединялся, но матерей вступивших в РОА не преследовали. Люди настолько были подавлены трагедиями, — у каждого своя! — что не способны были клеймить.



Диковинна судьба РОА. Она создавалась из военнопленных, но это не значит, что там были сплошь головорезы... Она сражалась на стороне немцев, но не все на нее смотрели как на врагов. Она называлась ударной — может быть, чтобы принять удар на себя? Борис Гусев, бывший солдат сорок первого года, бывший власовец и заключенный, однажды внушал мне мысль, что надо было вести дневник создания партизанского движения в Белоруссии. Он считал, что власовцы были рождены войной как козлы отпущения: переодетые в немецкую форму, они вырезали население, запугивали его и подталкивали вливаться в партизанское движение. Фактов на этот счет у меня нет, но разговор такой был.

Когда мы бежали из-под Харькова, в одной массе солдаты, дети, женщины, старики, в одном массиве были перемешаны самые разноцветные фигуры. Если бы нас тогда остановили, мы бы, наверное, умерли на месте. Фашисты нагнали нас, утюжили танками. Разорванные, раздавленные дети... Мне череп проломило осколком, спас какой-то военный, замотав голову тряпкой и пихнув в товарный вагон в районе Богодухова. Я валялся там, на опилках, весь в крови. Растолкала старушка, снова шли в толпе... Уперлись в реку, горел мост. Солдаты наспех сколачивали плоты, на них прыгали люди с детьми, плоты переворачивались. И всё это под бомбежкой...

Я видел бег исхода и беспомощность армии. Немой плач, как на картинах Чюрлёниса серии «Похороны». Там есть траурная процессия — длинная вереница, которая теряется у горизонта, люди идут к солнцу, символу жизни, и прощаются с ним. А потом, когда солнце заходит, оставляя кровавые отблески, сияние исходит от самой процессии, от людей. Всё выше в гору тянется шествие, выше и выше во тьму, будто огромный сверкающий уж... уходит, чтобы исчезнуть.

Водить через фронт военных — это было естественное внутреннее состояние, как дыхание, потому что это была армия, которая — я. Где шли бои, какого масштаба — знала бабушка, деревенская маршалюга. Она и втянула меня: посылала переводить через

линию фронта окруженцев. Мы, ребятишки, хорошо знали окрестности, кустики, овражки, буераки. Выводил солдат два раза.

После сорок второго пришла другая армия, армия-победительница, но любовь моя осталась там — в сорок первом. Солдаты сорок первого года, восходящие на алтарь грядущей Победы — они во мне. Не знаю, кто они, но получаю от них оценку тем, кто остался жив. Я смотрю их глазами, вижу, как они смотрят. Их место на земле осталось пустым, и поэтому в День Победы нет у меня в душе ни торжества, ни гордости.

До сих пор не понимаю, как выжил... остался жив. С тех пор ненавижу слово «выжить», допускаю только слово «жить!», ведь «выжить» — подразумевается любой ценой. Какой ценой выжили в тридцать третьем, когда мои родители бежали от голода с Курщины? Какой ценой выжили в тридцать седьмом? Или в войну? Часто ценой молчания, падением ниже последней черты.

Мы и сейчас продолжаем по инерции не жить, а выживать. Это какая-то затянущаяся подготовка к светлому будущему! Борьба за выживание — унижение для народа, страх, засевавший в душе. Когда он поражает целое поколение, начинает передаваться по наследству. Если покончить со страхом в себе, то, может быть, спасем от него грядущее поколение. Нам выживать, а им — жить.

### ПОТОК ТРЕТИЙ. КОГО И ЗА ЧТО

Женщины, у которых немцы убивали отцов, братьев, мужей, детей, эти женщины, завидев колонну пленных германцев, выносили картошку, свеклу, морковь и оставляли на капустных листах у дороги. В глазах тех, для кого это было предназначено, была роковая неспособность понять движущую силу таких поступков. Так и должно быть, а почему? Так легко было спутать рабство и сострадание, трусость и милосердие... Я потом и у наших встречал такие глаза. Дубасили меня во время следствия, и один из «нигилистов» (так он себя называл почему-то) всё норовил под дых сапогом. Очень ему это нравилось, и еще

на глотку встать и давить, как бы говоря: «Вот я всё могу, а ты, скот, не можешь дать мне в морду». Он бил меня за что-то, чего в нем самом не было, чего он сам не мог понять. Упрекать убийцу за то, что в нем нет человечности — упрекать дурака за то, что в немнет ума.

Над глубинкой в полный рост вставало раздувшееся от голода тело русского феномена: в побежденную Германию везли продукты и прочую помощь. А с запада на восток шли эшелоны, набитые вчерашними защитниками Отечества. Более удачливые слали домой подарки, кто-то даже ящиками или вагонами. В конце войны на территории Германии я был принят танковыми частями, пил с ними водку и ощущал неравенство страшное. Видел, как командиры посылали запечатанное в луковицы и в мыло золото...

Акценты смещались: врагами становились увечные и неудачливые. В сорок третьем–сорок четвертом годах стало много калек, этому не удивлялись, душу предохраняло время. Я с ними дружил. А к концу войны и после войны, когда они повылезали из всех щелей ползком, хромая, на колясках и тележках — стали заметны по-другому. Их просто убирали, высылали подальше с глаз долой.

Вражеской становилась и многомиллионная армия агонизирующей безотцовщины. Скоро ей нашли «достойное» применение. Вся оккупированная территория была разрушена. Её надо восстанавливать любой ценой, откуда-то взять армию новых строителей, которые бы валили лес, долбили руду, клали кирпичи...

Ужас и простота этого обстоятельства привели к людоедской политике. Бросили клич — выжигать каленым железом, хватать за бродяжничество, незаконное ношение оружия (валявшегося горами везде), за воровство. Кого? Были орды бездомной шантрапы, брошенной на произвол судьбы, вынужденной себя кормить, греть, защищать. Выжившие в голоде и бомбежке,

выплюнутые войной и расшвырянные по белому свету, они же оказались обречены на жерло лагерей.

Приняв знаменитый указ от четвертого июня сорок седьмого о борьбе с хищением государственного и частного имущества, отец народов убил двух зайцев: обеспечил рабочей силой самые гиблые места в стране и отреагировал на просьбу граждан обезопасить их от послевоенного воровства и бандитизма. Были ли среди них истинные преступники? Да, были... немного.

Система была простая: брали одного, били, он называл, часто наугад, еще двадцать пять... Позже я понял, что методы борьбы и с Бухариным, и с беспризорником были одни и те же. Битие определяло сознание: за одного битого трем (тоже битым) давали на полную катушку. А за трех? Здесь — весь смысл. За проступок, каравшийся ранее месяцами, начисляли по десять–пятнадцать лет, без права пересмотра дела. Многие ли сегодня поверят в реальность печального указа? А ведь именно по нему уходили сотни и сотни тысяч туда, где девяносто девять плачут, а один смеется — хозяин.

На предприятиях шли собрания, лекторы гремели гневными речами, набирали мощь групповые судилища. Разверстые пасти лагерей жаждали пищи. Распалась «общественное мнение», а о «попутно» осужденных и по ошибке казненных скромно умалчивалось.

...Народ требовал — партия и правительство откликались, опираясь на слепоглухонемые, околпаченно-ухайдаканные массы. Шла гражданская война против собственного народа. Общество отплясывало на костях людей. В числе послевоенной пацанвы я был ввергнут в двойной обман. Школа рабизма втягивала человека в мясорубку, да еще заставляла соглашаться, что эта карта справедливая, что он преступник. И чем доверчивей, беззащитней был осужденный, тем сильнее он верил в свою преступность.

Сотни порченных пацанят сгоняли вместе, принуждали надеть на себя личину лагерников. Им ничего не оставалось, кроме как ощущать себя... волками. Повторяю: среди тех, кто попадал

в облавы, были и воры, и насильники. Но не все. А давали всем — кому пять, кому десять, кому двадцать пять. От имени народа. Мракобесие народа — в готовности проголосовать за это и тем самым своих же детей послать на закание...

Система не изменилась с тех пор: всё, что ни делается — именем народа. Это машина. Многие не сознавали этого. На воле народ ослепленнее, чем в заключении. Мы там глубже всё видели. Осужденные по уголовным статьям бунтовали в лагерях, а политические молчали — мол, мы и вообще не при чем. Даже Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» внушал, что если не за политику сидишь — ты дерьмо. А виновата была только машина.

...Страшное избиение видел в Харькове: человек кричал и испражнялся. И чем сильнее кричал, тем сильнее били — может, хотели заглушить крики, забив до смерти.

На Олпе в транзитной камере на моих глазах происходило мужеложество. Мужики насиловали мужиков, свои — своих же, чтоб никто не жаловался, не «мутил воду», не искал правду, не стучал. В Соликамске хотели насиловать меня...

Жалость считалась среди заключенных преступлением. Нельзя было отделяться, уединяться, быть человеком, быть собой, грустить, задумываться... Требовалось быть массой, быть со всеми, всеми и никем. Кто сопротивлялся, того наказывали. Могли бросить на нары и насиловать по тридцать человек, пока не вывернут наизнанку.

Однажды меня, шестнадцатилетнего, в колонии Макаренко закрыли в тумбочку и сбросили с третьего этажа. И надо ж, ничего не случилось. А если бы и случилось, никто бы и не заметил. Мало ли нас убивали в заведениях печали!

На Олпе я согласился работать на ЧК. Сожалею, что так случилось, но не хотел, чтобы меня использовали, как это у чекистов культивировалось. У меня не было ни малейшего желания издохнуть. Могу об этом заявить где угодно. Это была форма самозащиты плюс возможность кому-то еще помочь.

Оказался везучим. Меня не насиловали, не калечили. И я сам никого не убил, не изнасиловал. Хотя, конечно, языком болтал очень много.

1957–1958 годы... Приступ аппендицита у меня случился на этапе. Продолжал идти. Потом двадцать два часа везли меня с перитонитом на волокуше в лагерную больницу. Лошадиная доза пятипроцентного морфия, боль адская. Путь в лагбольницу был только один — через пересылку. С развороченным животом оказался в камере, битком набитой педерастами. Их заживо съедал сифилис. Это были преимущественно симпатичные молодые ребята, которых этапировали в отдельную зону. А попал я в эту камеру проще простого: пересылка была переполнена, и какой-то ухарь из писарчуков начертал на моем личном деле «сифилис», я потом сам читал эту надпись...

Не буду вспоминать все связанные с этим мытарства, в результате которых я отвалился почти девять месяцев, пережив несколько операций. Врач смотрел с жалостью: «Зачем жить такому?..»

Находясь незначительное время в коридоре, стал свидетелем разговора: молодую женщину в период следствия следователь склонил к сожительству. От него зависело, как пойдет следствие — быстро или затянется. Она забеременела. Сокамерницы научили ее сказать об этом следователю, чтобы шантажировать его, изменить ход дела. После этого она была пьяным следователем избита. Тут же ее отправили по этапу, в животе — мертвое существо. Она шла транзитом — жить ли, умирать — не знаю. Фантазмагории Босха и Гойи — кукиш для слепых по сравнению с такими реалиями.

Ворочала лопастями судьбомешалка, жевала, чавкала, выплевывала: Буреполом, Усольлаг, Ивдель, Ныроб, Южкузбаслаг, Печора, Чукотка, Норильск... Звенели медали и наручники. Гремели победные марши, а на Дальзонах им вторили «дегтяри» и ППШ, поливая свинцом живой шевелящийся чернозем.

«Преступный мир истребит сам себя». По этой знаменитой формуле жил разьедаемый пеллагрой и вшами вертеп, где

«скоты», изувеченные своими, чужими и еще раз своими, действительно истребляли себе подобных. Да, для нормального, не утратившего способности сострадать и ужасаться человека войти в этот скотомогильник было катастрофой.

Пока фальшивый голос будет нам нашептывать: «Ты не они», — в нашем обществе мало что изменится. И не надо, бога ради, восклицать: «Ах, молодежь, откуда такие ублюдки? Подкладывали под жар-птицу идеи золотые яйца гуманизма, а вылупились такие чудовища». Не надо себя обманывать. Нет лобового воспитания. Мы вкладываем себя сегодня в детей своих, а через их память — во внуков.

Мое поколение прошло через всё — войну, голод, концлагеря, целину и стройки века, а в глазах общества остались подонками. Выросли без любви, без воспитания любовью, и теперь в детях нашего поколения взрываются мины этой нелюбви, несправедливости. Генетическая память подрывает не тех, кто минует (то есть сеет зерна зла), а совсем не подозревающих об этом потомков. Это не упрек кому-то, а мольба о сострадании — ко всем...

Мое поколение... Мы уходим из жизни, как арестанты, на иллюзорную волю, ничего, кроме концентрационных лагерей, не теряя. Самосуды, судилища, издевательства, растления — вот что получили мы от общества по его просьбе. Без шор пришли мы в мир и умирать будем спокойно, без политгипноза, в здравом уме. Говорить о пережитом тяжело, но и жить, когда видишь, что хаос безумия обретает четкие устойчивые формы — невыносимо.

#### **ПОТОК ЧЕТВЕРТЫЙ. ЧЕРЕЗ ЧЕРТУ**

Во всех лагах была одинаковая система уничтожения человека. Нужно было не просто рубить лес, колоть уголь, руду, корежиться в своем свиньячем быту, нужно было помнить, что это навечно. То есть влезать в отмякшую за ночь робу, идти чуть свет на пятидесятиградусную стужу, смерзаясь с этой робой,

долбить ломом до полного отупения, до глубокой темени, чтобы свалиться, оттаивать. А с утра всё сначала. Не день, не два, не месяц, не год, а годы, десятки лет. Сознание не могло переварить такое. Там не то чтобы не хотелось жить, ТАМ хотелось - не жить.

Обреченность (ханавей) заставляла людей убивать себя всеми способами. Калечили себя, рубили руки (махнул топором — пальцы прыгали как живые), на известковых карьерах засыпали пылью глаза... Был такой Муценко — засосал измолотый известняк, вдохнул его, чтобы заболеть. Потом мы встретились с ним на зоне — он был уже полный наркоман. Желудочные капли на опиуме, симплекс, омнопон, пантопон, морфин, кодеин, табачный настой... Да гоняли по венам всё, что горело.

Черту между жизнью и смертью перешагивали сознательно. Помню Мишу — он вышел к железнодорожной ветке, где ходил паровоз с пятью вагонами. Накинул фуфайку на голову — боялся увидеть себя мертвым! — и под паровоз бросился. Его в клочья развезло по шпалам. Двенадцать лет лагерей вынес, а оставшиеся два года ждать не смог. Он свой поступок продумал...

Но как миновало меня? Когда я смотрю теперь на себя прошлого, то подозреваю, что был в состоянии сна. Муторщины было достаточно, и момент мог назреть, как у многих, но я пропустил его. Организм потерял способность реагировать...

К черте был близок всякий, у кого рушились иллюзии. Все, кому до восемнадцати, попадали в колонию. Там было всё так же, как в обычной тюрьме, только страшнее, потому что неуправляемо. Взрослые (не все) способны были как-то управлять собой, влиять, понимать. Для малолеток жестокость становилась обыденностью. Однажды вохровцы привели в зону детей — выступать. Девочка годов шести взяла и запела: «Эх, трактор идет и бензином пахнет. Скоро миленький придет, через... трахнет». У слушателей были натянутые улыбки. Как на это реагировать? Серьезно — нельзя, хотя на самом деле это слишком горько. Для девочки, у которой мама пила, имела не одного папу и выкрикивала подобное — это естественно, обыденно.

Однажды мы кололись вместе — Женя Усольцев, Витя Морозов, Толя Крапивин. Крапивин был на расконвоировании, и к нему как раз приехали на свидание, привезли эти желудочные капли на опиуме. Мы их вскипятили, прокололись по три куба примерно. И разошлись по баракам, это как раз было к ночи. Я очнулся — и голову не смог поднять с подушки. Волосы держали, они присохли к подушке, оттого что лилась кровь и рвота.

Это был не единственный случай. Хлебал и кололся я не менее трех лет. Считал себя настоящим наркоманом.

После выхода из лагеря была возможность достать морфин в больших количествах, но мне уже не надо было. Почему оторвался от наркоты? С одной стороны, много раз приходилось смотреть костлявой в глаза, это всё же рождало противодействие. А с другой — нутром почуял, что дерьма накопил в себе достаточно, требовалось освободиться от него. Начал писать, а наркота и поэзия - несовместимы.

Смотрю по ТВ на современных наркоманов... Слишком много разговоров о том, что люди хотят уйти из-под власти наркотика и не могут, гибнут. Я считаю: если найдется линия, дело, что-нибудь, что они ставят выше — значит придет и спасение. Это всегда внутри человека.

...Порой снится — неужели до сих пор сажу?! Но тяжелее пришлось на свободе, когда увидел, КАК ХАЛТУРНО ЖИВЁТ ОБЩЕСТВО. Иные контакты ввергают в ужас. Нашел себе некто нишу, работает потихоньку, ест, размножается, в ухо ему не дует, и ладно. Только бы не проникаться, не думать ни о чём...

Он в этой нише и курит, и пукает, и фортку открыть не хочет. Он привыкает к обжитому пространству, создает себе атмосферу, теплую вонючую духоту, которая есть часть его самого. Откроешь фортку — думать заставишь. Мне показалось — да стоило ли ради такого дерьма терпеть столько лет?

Поэтому многие приходили к черте потом, пережив лагерь, не вынеши свободы. Такая судьба была как раз у Леши.

Такая же — у Миши, который накинуд фуфайку. У всех, кто сворачивал в самообман.

А во мне стремление проследить процесс возникло давно — и когда знал стариков нэпманских времен, и когда жил среди урок, у которых свои неписанные законы.

У меня была потребность копаться в себе. Я менялся здорово, и оценки мои менялись. Как бы я раньше посмотрел на жулика, укравшего хлебные карточки? Как на подонка, обрекшего на голод целую семью. Спустя какое-то время я уже смотрел на это, как на ужас, двойное несчастье (ему тоже надо жрать), и на вора — как на страдальца, а не только как на монстра. То есть всё-всё усложнялось...

Так урки утратили во мне урку, но не утратили мое сострадание. Я понимал — они более несчастны, чем я. И мне надо было идти дальше.

Каких было больше — тех, что поняли, или тех, что отказывались понимать, «накидывали фуфайку»? Да и тех и других было мало. Больше всего было — «ни то ни сё, будем как все». Перед такими вопрос черты не вставал.

Те же вохровцы имели сильнейшую иллюзию свободы, но на самом деле были оболванены сильнее, чем те, кого они охраняли, потому что верили, что служат правому делу. Несчастнейшие люди... Система была такая, что границу между более и менее оболваненными провести было невозможно.

Осужденные были заражены иллюзией свободы до такой степени, что, получив, наконец, эту свободу, оказались к ней не готовы. Мы верили, что выйдем, и грянет новая жизнь, а в действительности получали удары поддых один за другим. На работу не брали. Сближаясь с людьми, мы имели возможность выбора: либо признаться, откуда мы, либо не признаваться. Признавшиеся видели в собеседнике искаженное лицо, и это был конец. Тот, кто отвергал нас, был заражен иллюзией, что он выше, чище нас, подонков...

Можно было не признаваться, сразу начинать врать, но тогда ложь, ее подоночный яд начинали травить изнутри, трудно было

говорить и воспринимать правду. Леша Поварницын, корифан мой по лагерю (он вышел раньше меня на три года) вдруг начал писать мне с воли невообразимые письма — «всё рушится, рушатся идеалы, что ж ты, мразь, говорил?...» Мне бы услышать за этими проклятьями глубочайшую растерянность, панику человека, у которого рухнули иллюзии... А я вдруг решил, что это продиктовано высокомерием вольного по отношению к зеку.

Леша в то время переживал трагедию, приведшую потом его к смерти. В лагере гнал по вене всё, вплоть до политани. Он хотел сделать революцию против государственного строя, но не знал как, не смог прийти к тому, что оказалось бы выше отравы, и погиб. Он был обречен, своего рода рак разъедал его душу. Придя, я застал его уже после того, как он встретил Нину, имел дочь — порождение столкнувшихся двух обманов. Они изначально не могли друг друга понять. Начались взрывы, вспышки, несогласие. Как же они истязали друг друга! Она при нем спала с другими. И уйти не мог тоже.

Кончилось гибелью от водки почти намеренной: сначала он (опохмелился ацетоном), потом она. Было ли чувство? Несомненно, да, но было и другое — два человека столкнулись с необходимостью стать другими. А как это сделать? Отсюда, из бессилия, и возник конец. Возможно, осознание себя как ничтожества, как мрази было началом изменения, но на большее сил уже не хватило.

...Порой мы неистовствуем, орем друг на друга, валим матюги — но не из ненависти, из самозащиты, неумения стать другими... А заговорить бы по-человечески.

Любовь... Не признаю это слово как формулу для лунатиков. Вот корчит и ломает молодых до вылупления глаз, а под ними — железный закон природы, и он всем правит. Есть любовь или нет, всё равно придет момент и будешь, будешь шпандорить так, что только треск пойдет. И щепки полетят!

Мое понимание? Два человека призваны Господом к действию, которое труд. Они должны посадить и вырастить молодое деревце, имя которому - Любовь. Поливать его,

ухаживать... но обязательно вместе. А если его постоянно выдергивать (ссориться, разводиться) и пытаться воткнуть снова, то ничего не выйдет, деревце засохнет.

1967–1968 год. Я был на поселении после лагерей — это поселок Глубинный Пермской области. И тут Она приехала. Я понял, что Она приехала ко мне. Сомнений у меня всю жизнь было полно. Вдруг не тот человек, не та семья? А кто же мне тот? Шаромыжник, собирающий бутылки? Да я что угодно буду делать, полезу на рожон, рубаху начну рвать на груди...

### ПОТОК ПЯТЫЙ. РЫВОК ИЗ ДИСКОМФОРТА

Писать — это значит загонять себя в самим собой созданный туннель. Что позади — не устраивает, что впереди — неизвестно. Кто пошел по этому туннелю, редко возвращается.

Я всегда чувствовал себя одиноким человеком, у которого украдена ласка. Недостаток, недобор, обойденность, нехватка чего-то самого важного... Неистово искал, с кем я мог бы откровенничать. Этот путь привел меня к стихам.

Году в сорок втором – сорок третьем, двенадцати примерно лет, я сидел в деревне в хате, читал об Урале, а за окном была метель. И вдруг стало складываться в голове.

«А за окном седой февраль орал  
А за окном — тайга, метель, Урал...»

Это поразительно — через полтора десятка лет меня повезут на тот самый Урал под конвоем, но в сорок втором это было смутное ощущение, от которого появилось желание заплакать словами от страшного дискомфорта души. И от этого желания — к первой мохнорылой попытке.

Вопросов «когда, что, почему?» еще не стояло. Но была некая предыстория творчества: сделай что-то словами, и станет легче.

...Мы получали «высшее пенитенциарное» образование: буквы алфавита узнавали из переключки тюремных надзирателей.

«На сэ есть, на рэ есть? Кто на хэ?» — так выкликали счастливец, которым носили передачи родственники. Грамотой овладевали в «индиях» — до дыр зачитывая обвинилки, прежде чем пустить их на курево. «Индия» — камера, в которой сидели те, кому никогда ничего не приносили. Арифметика — отсиженные и остающиеся по приговорам годы...

Последовал большой временной разрыв, но через годы желание выкричатся словами пробивалось снова. Непреходящая задвленность заставляла что-то корябать, как бы беседовать с самим собой.

А к осознанной литературе я пришел гораздо позже, в лагерях. Встал на конец доски, с которой больше не сворачивал... В зоне мы, несколько человек (в их числе Леха), поступили в вечернюю школу и уже этим отделились от массы. Мы много читали, спорили, мечтали. Васька Мамошин, например, изучал языки — французский, немецкий, а литературу и словари ему присылала мать, журналистка. У него был спичечный коробок с «зарядкой» — скажем, сотня иностранных слов, он с этим коробком ходит и то одно, то другое слово вытаскивает, посмотрит. Как убедится, что слово запомнил, перекладывает в конец. И так — пока вся пачка не отложится в памяти.

От них я получил поддержку. Они могли настроить, оценить мое творчество порой одним словом. Это было счастьем — такое окружение. Плоскоглазые просто не втягивались в орбиту.

В обойденности, о которой я уже сказал, я был не одинок. Как я уже упоминал, после войны у меня пошла дружба с обрубками, с изувеченными, кого жизнь увечила до немоготы. Это тоже заставило вернуться к стихам осознанно. Информация о жизни была во мне так спрессована, что не найди я возможности от нее избавиться — она меня взорвала бы. Что же произошло? Начав вроде бы говорить о себе, я почувствовал за собой многих и многих, вычеркнутых из жизни, подобно мне... Они со мной, смотрят в лицо, дышат в затылок: «Скажи о нас. От того, как ты скажешь, зависит, какой ты сам».

Вспоминаю Ахматову: «Я была тогда с моим народом — там, где мой народ, к несчастью, был». Она была с народом, конечно, но я-то и был этот народ, который кнутами гнали. Мне не надо было искать темы, о чем писать. У меня просто выбора не было.

Я против того, чтобы сочинять, тащить за уши «нечто». Я за то, чтобы успеть случившееся пропустить через сердце и мозг и в доступной форме передать другому. Вопрос стихотворной формы не был для меня главным. Размером если и занимался, то не ради него самого. Я как бы брал кусок стиха и вертел его, пока не чувствовал, что это то, что нужно.

В литературе мне проще назвать единомышленников (а не предшественников). Это Солженицын, Шаламов. В чем-то не согласен с Солженицыным, но не соглашаться с отдельными моментами — не значит отвергать.

Шаламова действительно люблю, это неоспоримое. Мы с ним шли в одном направлении, хотя и независимо друг от друга, и понимание задач литературы Шаламовым разделяю полностью. Я как-то нашел это в переписке Шаламова и Пастернака.

Шаламов крыл по-черному весь этот процесс писательства, чтения, понимания. Для вас это новая точка зрения, а мне это ближе всего. Приблизительно это звучит так. Реальная жизнь намного прекраснее и отвратительнее, чем литература, как занятие. По Шаламову, истинная литература — это анализ жизни, всего, что с тобой происходит, и через это — помощь другим...

Кто вел статистику о тех, кто ушел в землю, спился, чьими могилами отмечены погосты обширной Родины?

Поколение стремилось осознать себя и натыкалось на невозможность это сделать. О том, что болит — говорить нельзя, окружающие воспримут как ложь. То есть сказать правду — означало солгать. Так в душе накапливался клубок самосгорания... Сегодня — нет, уже вчера, настало время не просто вытолкнуть этот клубок, а весь его распутать, осмыслить.

На Урале была тупиковая ситуация: мое творчество никто не воспринимал. Одиночество полное. Душа обречена на

медленное умирание. Кирыл. Только чтобы накинуть фуфайку, не думать, уйти от того, что невыносимо...

Жизнь подсказывает — рано или поздно всё изменится, терпи. Но ничего же не меняется! Тут действуют два износа, один на другой: износ чисто писательский, когда делаешь что-то и переживаешь опустошение, и второй — чисто бытовой, когда не то что цели, а даже видимость и смысл всякой цели пропадает. То есть громадный пласт человеческой и душевной энергии вырабатывается дочиста.

Всем тем, что осуществилось, обязан прежде всего Татьяне. Я всегда был недоволен тем, что делаю, а раньше это и выражалось по-зверски — и жег, и рвал, и ел исписанную бумагу. Татьяна ухитрилась спасти всё это.

Поворотным моментом была светлая история. Вадима Валериановича Кожинова мы узнали по публикациям и, прежде всего, по статье про Алексея Прасолова, рано погибшего поэта. (Кстати, мы с ним сидели в одном лагере «Красный берег» под Соликамском, но в разное время). По тем временам такая поддержка со стороны Кожинова была неординарная вещь, смелая.

В восемьдесят втором Татьяна Петровна поехала в Москву на курсы повышения своей газетной профессии и разыскала там Кожинова. Отдала ему мои стихи и свое письмо. Вслед за этим я получил мощнейшую поддержку, первую и единственную в таком роде. Началась переписка, а потом... ответ Кожинова на мой звонок из Перми: «Есть ли деньги на билет до Вологды?» Отвечаю: «Найдутся».

Я поехал. Там в писательской организации уже лежало письмо про меня. Так я появился в Вологде «с подачи Кожинова».

Что-то сдвинулось с мертвой точки. Как обычно отвечают в редакции? Либо молчанием, либо отказом, причем обоснованным: «Стихи хорошие есть, но подборка не складывается».

Когда Кожинов посылал в Пермь рекомендательное письмо обо мне, в нем приводились слова Твардовского про Ваншенкина: «Здесь просто нет плохих стихов — либо хорошая рифма, либо прекрасная метафора...» — и в продолжение мысли, смысл такой.

«...К стихам Сопина всё это не имеет никакого отношения, по той простой причине, что хорошая рифмовка или использование метафор еще не признак поэзии. Творчество М. Сопина отличительно тем, что у него есть генеральная дума, без чего поэзия немислима».

В окончательной редакции того же текста рекомендации, но уже в Северо-Западное Архангельское издательство, Вадим Валерианович имя Ваншенкина убрал. А про генеральную думу осталось, как и рекомендация публиковать.

Учитывая личность и авторитет Кожинова в литературном мире, можно сказать, что это было подобно залпу «Авроры», прежде всего для меня, ну и для официоза, конечно.

...Трансформировалось окружающее, да и сам я тоже менялся всё время. Но одно было постоянным: изумление без предела. Почему меня опять ударили? Почему в такой момент? Почему именно тот, кто дорог? И неужели я не мог это предвидеть, не чувствовал, неужели не причастен к тому, что случилось? Поневоле плюсы превращались в минусы.

Вот он, процесс раздолбания и развенчания, вот что творится в тупике. Возможна ли такая ситуация, чтобы тупик рухнул? Разве что умом тронусь, крыша поедет.

Глупость или горечь жизни состоит в том, что взрослые люди, играя в идеологические или другие игры, не могут или не хотят понять другого человека. Что это за мелочь пытается там что-то прокукарекать?

Для меня — чем сильнее любая вера массового характера, тем трагичней жить в этой массе... Они дубасили меня, не подозревая, что отчасти становятся стимулятором моего противодействия. Давили во мне самую сердцевину, как тот самый «нигилист», что на глотку наступал. И всё равно что-то оказывалось неубитым.

Вот, кажется: всё сгорит, всё пепел. Ничего нет, всё мертво. Но пока валяешься в каталепсии, пепел слеживается, твердеет, так что уже не проваливается, и на пепелище появляются всходы. Человек уже видит — загнанный в тупик, он пережил это, прополз через скверну...



И он трезвеет, садится и думает: что я такое? Кто меня бьет, за что? Что теперь исповедовать? Получается — человек человеку не друг, товарищ и брат, а козел вонючий. Да что это за люди, что это за общество? Неужели я — его часть? Но тогда они мне не враги, а товарищи по несчастью. И мой единственный выход — работать, делать то дело, которое только ты можешь... Доказывать, что можешь, и, прежде всего, не «брату-козлу», а себе.

Разум обязан научиться давать четкое и понятное название всему, о чем болит душа, любя или ненавидя бывшее. Иначе он до могилы обречен жить в мешанине прошлого, лишая себя опоры и радости в настоящем.

## ЭХО С БЕРЕГА

### СОВПАЛО

Когда я попросила Сопина рассказать о себе, то оказалась перед пропастью. Я обнаружила: спрашиваю одно, а он отвечает другое. Он не любит работать по намеченной программе: «Расскажите телезрителям, как вы...»

Однажды он пришел на встречу, это был семинар сельских библиотекарей. Договаривались, что он почитает стихи, поговорит с людьми, ведь он так ярко умеет говорить! На встрече я сказала жаркое вступительное слово, даже спела песни на его стихи, а он читать ничего не стал. Все очень удивились — а зачем он пришел? А он прищурился и сказал: «Я не должен у вас по нитке ходить». И ушел! Я осталась перед людьми объясняться. Как выяснилось позже, дело было в том, что от слушателей «не катились шары симпатии... зеки острее реагируют». Сопин не любит встречаться со всеми подряд, для поэта это как-то странно. Но когда неизвестные поэты пригласили прийти на ИХ встречу с читателями, он согласился сразу и говорил такие удивительные слова! Когда выступал в Никольском детдоме, его услышал мальчик Руслан и написал письмо. А через несколько лет переписки взял и приехал, перед тем, как отправиться на работу в Череповец. Он семью Сопина считал своей.

Общаться с Сопиным было опасно: сквернословил, своевольничал, полыхал, уносился в космос. Собеседников, равных ему, просто нет. Он ошеломляет раз и навсегда.

Совпало: при бешеной тяге к людям видишь свою ненужность. Долго ждешь контакта, а потом никак не можешь очухаться, если контакт не состоялся. Проклятый анализ, вечные вопросы, которые не давали покоя — так было у него, и у меня. И уставание от меня чужих людей: «Заткнись, радио». Очень похоже мордовали по непониманию, ИХ жалко было больше, чем себя.

Совпало: дневник, уход в него как попытка хоть что-то понять. Только я начала писать его пораньше — шестнадцати лет. Потому что биография так сложилась. Но точно так же, как двадцатичетырехлетний Сопин, пыталась разгрести свои «авгиевы конюшни».

Когда я слушала Сопина, то местами замирала от ужаса. Зачем осмелилась ворошить то, что лучше забыть? Вспоминая, он оскаливался, переламывая пережитое страдание, а глаза... Есть такой оптический эффект при съемке, когда в глазах отражается фотовспышка, они испускают слепящий луч, как стеклянные. Отражение от глазного дна или что-то еще... Иногда он смотрел на меня так. Да, я виновата. Пришла, как равнодушный вскрыватель, холодный зевака. Резанула по живому...

Первые же попытки разобраться в сопинских потоках показали: вряд ли я узнаю то, что хотела. Но, может, узнаю то, о чем и не подозревала. Или в десять раз больше. И, возможно, не в момент разговора, а гораздо позже, через несколько лет.

Никакой детектив не сравнится с историей невероятной души. В которой навстречу друг другу ринулись две стихии: неимоверный поток злобы и нечеловеческий запас любви. Сшибка этих двух сил предопределила развитие души в сторону творчества. Сопин-мальчик из зеркала повзрослел стремительно и насильно. От него, заморыша, зависела судьба целых военных подразделений.

От него, горького поэта и мытаря страны, зависит теперь жизнь молодых и незамученных. Если они захотят выйти из зоны киряния и духовной глухоты, они его услышат. И он опять кого-то выведет из окружения...

Михаил Сопин родился в 1931 году. Отец — Николай Никитич Сопин, мать — Дарья Петровна Исаева (Сопина по первому мужу). В семье, кроме Михаила, была старшая дочь Катерина и два мальчика младше Сопина, братишки Иван и Анатолий. Им было лет по пять, когда они сгинули во время военной бомбежки.

Детство Сопина прошло в селе Ломное Курской области. Многие события в его жизни связаны с бабушкой Натальей

Степановой, таким генералом в юбке. Она умела отлично стрелять, и характер у нее был — дай боже, ее боялись даже грозные братья. Наталья Степановна была столь же незаурядная, сколь и неоднозначная женщина. У нее было припрятано несколько систем оружия. Советскую власть она ненавидела и периодически материла. Когда Ломное попадало в прифронтовую полосу, она прятала Мишу и Катю, когда же начиналась немецкая атака, она выходила и кричала, что лучше перейти на ту сторону...

Еще сложнее вопрос с дедами. Вот дед Михаил, служивший в полиции и разъезжавший на белом коне. Именно он учил маленького Сопина «пристреливать в ухо»: «Выстрелил, увидел, что упал — не верь. Поверни, повтори в ухо». Это было в 1942 году на Покров. Все на конях, у внука Миши была серая лошадь в яблоках. Были и пулеметы, которые не бездействовали. Сколько было таких вояжей? Чему мог научить внука обожаемый дед? Разве есть у ребенка противоядие? Когда в 1943 году немцев вышибли, дед Михаил попал в тюрьму.

Наталья Степановна, кстати, ничему не удивлялась. Однажды обстреляли немецкую колонну, и бабка стегнула Мишу Сопина по голове: «Где был?» Она имела подозрение, что дед Миша руководил этим. Возможно, он служил нашим, но после окончания войны ему пришлось уехать с глаз долой, потому что народ с полицаями расправлялся по-своему, раздирая на деревьях. Спустя много лет после войны дед Миша оказался на подмосковной станции Узловая, где работал начальником участка. Однажды его арестовали. Потом было послано от него обращение к Калинин, последовало освобождение... В мирное время деда Мишу тайно задушили. Кто это сделал, почему?

Сопин вспоминает, что в 1942 году было какое-то питье самогона, во время которого один из дедов, Степан, отрубил шашкой угол стола и сказал, что скоро мы будем жить так, как хотим. В линейных частях ходили слухи: сам Жуков обещал, что не будет колхозов...

Поразительно, но были в то время люди, которые добровольно вступали в немецкую армию. Если кто-то из

тамошних деревенских так делал, то это называлось «двойное отпевание», то есть могли убить и немцы, и наши...

Именно бабушка попросила Мишу Сопина перевести военных через линию фронта, то есть инициатива на первых порах была ее. Но потом Миша не только за ней следовал, а стал переводить военных сам, он был маленький, проворный, места знал хорошо. Он выручил столько взрослых, что нет смысла вспоминать количество.

### ПЫТКА НЕЖНОСТИ

...Люди мне говорят: «Стихи Сопина читать страшно!» Говорят — кровь, смрад, ужас, мучение. «Уважая и ценя его как личность, — читаешь, а потом дышать не можешь. Точно и так на свете...» Многие смотрят брезгливо, многие просто жалеют, берегут себя до невозможности — как бы им не пропустить в себя это страдание, это черное прошлое. Да, его стихи — сублимированное страдание. Это то, что разлито было по всей равнине жизни, но собрано и выпарено до горсти... Это химически чистая боль. Но его реальная жизнь.

У меня в момент разговора дети были такие, как Миша Сопин перед войной. Я представляла их в этом жутком месиве, и у меня горло заболело от крика, от затвердевших слез. Господи, это не мой ли сын Никита там, в бурьяне, весь в крови? А у Сопина был дед Никита... Маленький Сопин заболел во мне через сыновей...

Это я вспомнила про эпизод, когда он попал на разбомбленное поле... Бомбили эшелон, люди бросились из вагонов на волю, а по полю танки, танки, а сверху самолеты, самолеты... Сколько он там пролежал в бурьяне, пока не нашла чужая женщина и не замотала тряпкой разбитую голову?

Сумасшедшая сопинская родня и слишком военное детство могли сделать из Сопина равнодушную машину, убийцу. Ожесточиться было от чего. Вдобавок он же был сверхчувствителен и видел не только то, что видели все, но в десятки, сотни раз больше и острее всё воспринимал. Любить отца значило: потерять. Любить деда значило: быть как он.

Любить армию значило: не видеть ее уродства. Но ни разу он не свалился в подобную узкоколейку. Падал израненный и никогда не был раздавлен. Пил спирт с одиннадцати лет, но не оглох, не осатанел, не перестал содрогаться от жалости. Его разлом любви к армии — это пытка на дыбе великой нежности к человеку...

Ухватившись за это, понять Сопина просто. Как в стихах, так и в жизни.

### НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Сопин попал в мясорубку колоний и лагерей шестнадцатилетним мальчишкой за незаконное ношение оружия. Почти на двадцать лет его вычеркнули из жизни. Простая мысль, способная кого хочешь довести до безумия. Он не сошел с ума. Крепость его физического и духовного сопротивления оказалась непостижимой, он вынес то, что вынести нельзя.

В этой мрачной повести есть один момент. То есть дорого мне всё, но, как в необъятной пучине под рукой оказывается вдруг спасительная доска, так и здесь. Выскеркнул один штрих, он в моментальной вспышке осветил для моего сердца всё, что я не могу постигнуть своим неповоротливым умом...

...В страшной слякоти и стылости брякнулся с высоты деревянный ящик, распавшийся от удара на части. А содержимое осталось лежать грязной кучей, и только наклонившись низко, вплотную, можно было разглядеть замурзанное мертвенно-белое лицо подростка, совсем ребенка. Орда малолетних преступников в колонии выбросила его с высокого этажа, шмотанула его о грешную землю только за то, что он остался человеком, возмущился, когда кого-то мучили. Не выдержал, пожалел. Виновата упрямая душа, отягощавшая непомерно хрупкое свое земное вместилище, сделавшая его тяжелее воздуха, но неуязвимей боли, сильнее смерти... «Стой, Николаич, не умирай, спаси тебя Господи...» Я рыдала от ужаса, что ничем не могу помочь через столько лет, я едва родилась, когда он уже претерпевал свои адские муки. И до половины жизни остаюсь в

неуверенном подвешенном состоянии, в то время, как ему пришлось отвечать за свои поступки еще ребенком.

Но ведь в русской литературе тому случаю есть аналогии. Князь Гвидон, например, тоже вышиб дно и вышел вон. Мразь исторгла его, чтобы дать ему возможность существовать в другом измерении. Реальность и торжество такой несправедливости обеспечили не Салтаны, не Змеи Горынычи, а живые теплые люди. Как я, как вы... Без них никакая, даже самая безошибочная машина не завертелась бы. То есть при помощи этой машины одни стояли на других. Все топтали всех... Бедная нация.

Было бы отдыхом и благословением забыть и отречься от этого. Крикнуть — не знаю, не помню! Меня тогда не было! Но зачем фарисействовать? В наше страшное время слишком многие выживают за счет других. Им кажется, что «хрен с ними, с быдлом». Так незаметно гибнет неведомое будущее. Сопин прав: машина всё еще работает...

...Не попав в войну и разруху, я, воспитанная в мирное время, в благополучной семье, много раз оказывалась наказанной, отвергнутой теми, кто меня притягивал. Мои родители, которые были для меня героями в историческом, а также и в личном плане, постоянно долбили мне, что я опозорила. Меня жестко наказывали. Мне доказывали, что я ничтожество, и я свято в это верила. Ведь они были для меня самые умные, самые честные. Может, они не любили меня? Конечно, любили, как раньше, так и сейчас, когда я усталая тетка с целым семейством, трое детей. Просто на них действовало что-то, что не давало им любить меня открыто, надо было долг перед обществом выполнять. А кто эти нормы придумал? Общество. Надо было соответствовать общественным нормам, а за отход от ГОСТа пороли... «Ты не наше лицо!» Мое восхищенное комсомольское воспитание очень повлияло на мою судьбу, задержав, искривив мое творческое развитие. Я тоже думала, что надо служить обществу. Но я-то была совсем другая! А обществу было, есть и будет всё равно. Столько сил пропало впустую.

Как-то раз моя младшая сестра довела всех до психа, когда рано утром забралась в ванную и стала методично обливать стены водой, пуская струи то так, то эдак. Наверно, она не заметила, что залила там пол, а самое главное, не давала никому туда войти, хотя все опаздывали. Родители очень разозлились и нахлопали ее полотенцем. Я это слушала из соседней комнаты и была внутренне согласна, поделом ей за выходку. Но шлепки «завели» меня, я закричала. И тогда родители принялись за меня. Меня они уже пороли по-настоящему, хотя я была отличница. Я, значит, посмела осудить их, посмела крикнуть, когда надо было молчать... Это была неуместная, непристойная жалость.

Одноклассники ненавидели меня за то, что всегда хорошо делала домашнюю работу и никогда не давала списывать. Но как я могла? Мать — учительница, непререкаемый авторитет, она говорила, что это нельзя, это вред и подлость, и человек со списанным уроком всё равно ничего знать не будет. Я им так и говорила — вред, а они хохотали мне в лицо, подбрасывали в парту тухлые яйца, порезали мою меховую шапку, украли авторучку с платиновым пером, подарок отца, я так потом плакала. Я была подслеповатым очкариком и вечно выслушивала насмешки... Детство мое было адом.

Меня презирали институтские друзья — я была для них слишком жалкой и примитивной.

Я была отвергнутой. Меня вышвыривали из компаний, и я не могла ничего для них сделать. Я хотела жизнь отдать, но ее не брали. Где бы я потом ни работала, меня отовсюду увольняли. Я не могла удержаться ни в одном приличном месте. Многие мои общественные проекты рухнули без поддержки общества. Мое стремление помочь людям всегда наталкивалось на их презрение. Почему-то надо было убеждать их, что моя помощь им нужна. Как будто сами не видели.

Единственное мое спасение было во мне. Я сама себя утешала, учила, образовывала. И почти всегда понимала тех, кто меня бросил. А Сопин при этом замечал, что уходят лишние.

## ПРИДЁТСЯ И НАМ

Никогда не видела живых наркоманов. Узнав, что таковым был Сопин, я стала вытягивать из него взгляд на это дело. Сопины как-то зашли ко мне, и мы пошли сидеть на детсадовском участке, потому что мне надо было записывать.

Сопин был с глубокого похмела, и тема разговора ему не нравилась. Я думала — из-за того, что это его порочит. А оказалось — ему просто скучно. Он повторял — это не нужно. Потому что ни одно явление он не воспринимает в лоб и неподвижно, но всегда только с той стороны, что за этим последует. Потому что «наркоты как таковой нет отдельно», а есть человек, которого «что-то к ней привело». А приводит к ней невыносимость боли, неумение или нежелание думать. А коль уж в Сопине это думанье оказалось неистребимо — всё остальное сползло старой кожей.

Недаром он то и дело вспоминал корифана Лешу. Тот пришел к нему, уже будучи на воле, чтобы вместе «ущипнуться». Ущипнулись. Не взяло. «Не понял. Давай бомбу? — Давай». (Бомба вроде бутылки вина.)

Взяло или не взяло — это зависит от предрасположенности, от глубокого, нутряного рабства, от страстного желания стать на четвереньки и послать к черту всё... А предрасположенности больше не было.

У меня был дед Владимир Андреевич Бедилов, знатный машинист депо, коммунист и так далее. Попал в тюрьму по ложному доносу, и когда его «случайно» выпустили, он начал пить по-черному, так как не мог понять... Я думаю — он хотел, но не мог понять, что происходит. Питание довело до шайки приятелей, которых он кормил и поил, пока они, не поделив что-то при карточной игре, не погубили его. Заперли его в каменном собственном доме и пьяного подожгли. Следствие показало, что умер он не от ожогов, а от удушья. То есть он метался, хотел вылезти, бил окна, а ставни были заложены снаружи.

Об этом поневоле вспоминаешь, когда твои друзья или просто известные вологодские поэты неделями не ночуют дома, в двадцатиградусный мороз лежат в сугробах, а просыпаются либо

в казенных туалетах, либо на казенных простынях. Иные же того пуще, сжигают себя с радостью помешанного — мол, я без этого не могу писать! В последние годы из писательского мира вслед за Рубцовым ушло столько человек. А Сопин считает: если человек вообще смог что-то создать, то смог бы и без этого. Но если привык человек себя взвинчивать, то ему трудно представить, как он поведет себя без кабалы.

Пришло время — у целой страны рухнули иллюзии, у многих эти иллюзии были воедино с сытостью, и казалось, что гибель химер повлекла за собой голод. Ужас этой парочки — наша реальность на долгие годы. «Нет более нищей страны», — повторяют эмигранты и патриоты...

Но вернуться назад так же невозможно, как и перескочить предстоящее. Многие вплотную подошли к черте и смотрят в глаза. Естественная смерть стала настолько легкой и возможной, что усилий перешагнуть черту почти уже не требуется. Это наш новый ханавей. Это наш концлагерь, раздувшийся до размеров государства, это метастазы Усольяга, прошлого — в настоящем... А в лагерях некоторые выживали.

## «ТАМ ЕСТЬ ЧУДИЩЕ...»

Была в Перми Нина Чернец, талантливая богемная личность. Ее компания собиралась то у нее, то у подруг. Подруга Луиза пережила страшную драму — на восьмое марта повесился муж, это ее постоянно мучило. Дочка Луизы спала на раскладушке в той же комнате, где собирались гости и гудели оргии. В один из таких вечеров у Луизы, где была в числе других и Татьяна Продан, появился стриженный паренек Алеша Поварницын. Когда он сказал, что здесь проездом, все подумали — он из армии. Татьяне он понравился, потому что почти не пил. Нина сидела с Геной, Таня с Алешей... Потом он исчез куда-то, а через два года Нина с Алешей поженились. Нина вскользь сказала Татьяне: «Там есть еще один, лучше...». Леша добавил, что да, «сидит такое чудище в джунглях»...

Татьяна отмахнулась и всерьез не приняла: «Что за фамилия — Сопин, всю жизнь сопеть придется». Грустная ее улыбка: «Они нас стравили».

А Татьяне Продан было в 1967-м двадцать семь. Она переживала трагедию большой любви, закончившейся обманом. Работала в школе рабочей молодежи, потом поступила в редакцию молодежной газеты. К тому моменту — отсутствие работы, настроения, одиночество и недоверчивость. Через год опять промелькнуло о человеке, который сидит ни за что. Татьяна пошла к шефу, оказавшемуся тогда за редактора и попросила командировку. Хотела освободить? В дороге ее пугали: «Там бандиты. Изнасилуют, убьют». Познакомилась со странным попутчиком, который тоже отговаривал ехать, уверял, что знает Сопина, стихи он якобы даже Сопину отдавал... Это было в районе Чепца, от которого шла узкоколейка к Глубинному (места, рядом с которыми отбывал срок Лев Разгон).

Приехала, ее поселили в «ментовской» гостинице. Всех смущали ее командировочные документы. Приставили солдата для охраны. Она нашла его около котельной, хмурого человека Сопина. Он не поразил ее при встрече, а, поцеловав руку, даже раздосадовал: «Он что, думает, что я приехала как его девушка?!»

Идя с ним по поселку, она поразилась тому, что с ним все встречные тепло и уважительно здоровались: «Здравствуй, Миша!» — и заключенные, и охрана. На нее будто даже падал ответ симпатии, обращенной к нему. Это порождало смутную гордость. В ее интеллигентной среде она не сталкивалась с подобным...

Когда он первый раз улыбнулся при ней, она внезапно увидела, какой он красивый человек.

Потом были редкие, раз в полгода, встречи. Однажды она приехала в поселок на Новый год. Всё было завалено снегом, и все поголовно пили. «А Мишу оставили на движке, потому что знали — он не свалится, не вырубит свет». Близость в тех местах была издевательством, потому что у поселенцев, как и у зеков, не было права остаться одному, двери запереть. Но

даже такое противодействие не могло помешать тому, что возникло.

Была бурная трехлетняя переписка. Татьяне было интересно отвечать, спорить, при этом она, нисколько не смущаясь, правила ошибки, выписывала их в столбик. Для Сопина это была суровая школа грамотности.

Он учился, стиснув зубы, и делал за короткое время немислимые успехи: «Мне не нравилось, что меня мордой об стол».

Вернувшись из первой поездки в Глубинное, Татьяна была уже настроена выйти за Сопина. Ее мама села вязать для него свитер, а папа сказал, что надо послать ему теплое белье. Ну, и через три года Сопин приехал в Пермь совсем. Пожениться можно было и раньше, но он не хотел, чтобы свидетельство о браке выдавала «эта система». Чтобы это потом всю жизнь напоминало...

Он приехал и сразу же напился с другом Лешей. И пошла вариться каша. Вместо долгожданной эйфории — мат, бесправие, удары с разбегу в бетонную стену башкой. Может, он хотел этим питьем смягчить нежное прикосновение свободы? Он пришел и принес с собой все свои скрежеты. И она, не задумываясь, взвалила их на себя.

В связи с рождением первенца Глеба он просто исчез из дома на целую неделю, пил где-то... Он боялся, что таким, как он, уже невозможно иметь нормальных, здоровых детей. Но бог дал Сопиним не одного, а двух сыновей — Глеба и Петра, да еще каких талантливых. Один, Глеб, погиб в 19 лет, оставив огромное количество рукописей и рисунков, второй, Петр, — музыкант.

Дворник, сантехник, сварщик, сторож — кем только Сопин не работал. Это касалось хлеба насущного, но не мешало делать ему работу главную, которую он очень любил — писать. Через много лет Сопин скажет, что в его семье все понимают друг друга, и это всегда очень поддерживает его.

Один важный эпизод из жизни Сопиных записала Ольга Кузнецова: «Когда-то семья известного в Вологде поэта Сопина жила в Перми. Михаил Николаевич писал много, в том числе и

политического, социального. И вот умер Брежнев, у руля государства стал Андропов, который немедленно начал закручивать гайки на всех уровнях. И Михаил Николаевич испугался. Причем испуг был сильный: казалось, что за ним, за его инакомыслие, придут и снова спрячут за решетку. И у него появилась настойчивая идея: уничтожить написанное. А жили они возле лесопарковой зоны, и вот однажды Сопин сказал жене: «Я должен пойти в лес и все стихи сжечь».

Жена поэта была в ужасе, многолетние труды поэта могли пропасть. И она нашла единственный довод, который, впрочем, и сумел остановить этого порывистого человека. Татьяна Петровна сказала: «Михаил! За разведение костров в неполюженном месте, за нарушение противопожарной безопасности тебя как раз и задержат, и привлекут...» К счастью, они нашли другой выход — просто спрятали рукописи в надежном месте, в подвале. И не пожалели: тексты впоследствии очень пригодились.

Татьяну Петровну многие считают мученицей, святой, навек преданной нелегкому спутнику жизни, «всё для него, ничего для себя». Работники редакции «Вологодского подшипника» помнят, как она из столовой от своего обеда котлеты ему возила, как спохватывалась, что папиросы забыла купить. Да, она выгоняла из дома компанию подгулявших приятелей, много раз объяснялась с соседями снизу по поводу затопления, искала его по чужим квартирам... Так это было даже на моей памяти. Мишка Жаравин как-то попросил устроить ему встречу с Сопиным, как будто не понимал, что об этом не надо договариваться. Сопин и так его любил и всегда бы выслушал. Но я пошла, договорилась, а Мишка пришел на квартиру к Сопиным, пряча бутылку. Мне, конечно, было интересно, о чем они будут говорить, но я чувствовала — при мне не получится у них. Ушла, скрипя зубами от ревности. Через сутки позвонила Татьяна Петровна — пропал Сопин. Я с тоской продиктовала ей адрес, понимая, что они гудят вместе. Так и оказалось... И, как будто забыв, что минуту назад ругалась, Сопина удивленно говорила: «У него тело молодое, как у юноши». И растерянно глянув через очки: «А знаешь, я с ним счастлива».

## КНИЖНАЯ КУХНЯ

Рукопись книги «Предвестный свет» была готова, обсуждалась на редсовете, получила положительную рецензию издательства, но путь ее выхода был мучительным. Закончив книгу, Сопин уехал по делам на Урал, рукопись обещал отправить в издательство Карачев и сделал это. На обратном пути Сопин встретил на вокзале тогдашнего директора издательства Глуценко, который обещал запустить рукопись немедленно, как только будет малейшее окно. Сопин считает, что оттуда достаточно много выдрано. Кое-что появилось потом в «Судьбы моей поле», но далеко не всё. Это при том, что книжка имела умного заинтересованного редактора Елену Галимову. Работа, которую она провернула в период, предшествовавший изданию, была громадной. Она писала письма, звонила в Вологду, она умела отстаивать свою точку зрения, понимая при этом автора. Дважды попадала в больницу с сердцем... Борьба давалась недешево. (Восхищение Сопина Галимовой позже повлияло на мое решение заниматься с авторами в литературном объединении. Это он дал понять, как это необходимо...)

Многих озадачивало название — «Предвестный свет». Почему именно так? Возможно, не всем удавалось услышать, понять стремление автора «осмыслить путь, ведущий в сегодня». Было ли это предчувствие того, что началось в стране после восьмидесяти пятого года? Была ли это оценка нашей истории глазами одного и того же человека разного возраста? Предвестный свет обозначал возвращение людей, стертых дикостью нашей трагической истории.

То, что так очевидно сейчас, не было очевидно десять лет назад. А любое вырывание из контекста обесценивает незримый труд автора... Хорошо, что название удалось сохранить. При наличии невозвратных потерь оно всё же отражает главную идею, замысел, предчувствие перемен. Хорошо, что каша издательская варилась только два года. Сварилась в 1985-м — так и вышла первая книжка Сопина «Предвестный свет».

В конце восьмидесятых две новых рукописи лежали в Северо-Западном издательстве в Архангельске и в московском «Современнике». Когда судьба «севзаповской» рукописи решалась на редсовете, то книгоиздатели были против — якобы не раскупалась первая книга. Писательская организация была за издание (Оботуров, Шириков). Определяющими оказались доводы А. Цыганова: даже первая книжка Рубцова не принесла успеха, а на «Предвестный свет» имелись положительные отклики критики в Москве и на Урале.

Редсовет вынес решение: издать. Однако после этого потребовалось ходить выбивать бумагу от облкниготорга, что они согласны на минимальный тираж две тысячи. Тираж потом оказался — одна тысяча. Бесконечно, оскорбительно мало. Хотя сколько наименований из плана тогда вообще выпало... Все эти соображения сейчас кажутся наивными. Но как бы то ни было, тогдашняя система книгоиздания давала возможность осуществиться — хоть какую-то, но возможность. Теперь и малейшей возможности в смысле помощи от государства нет.

В издательстве, кроме рукописи, были еще стихи, «оставшиеся» от первой книги. Редактуру взял на себя Александр Цыганов, он помог увеличить объем за счет новых стихов, убедил в необходимости изменить название: не «Мост», а «Смещение» (свою книгу он позже назвал «Мерцание»). Он же предложил оформление книги известному вологодскому художнику А. Савину. Разумеется, редактору пришлось выдерживать бои по поводу объёма, но он стремился сделать архангельскую рукопись абсолютно другой, чем московская. Отправлено было на издательство особое письмо с просьбой ускорить издание в связи с трагической гибелью старшего сына Сопиных в рядах Советской Армии.

Раз пять за год менялось направление ветра! То казалось, что дело пошло на лад, то следовал полный отбой. Немыслимая, невидимая миру попытка, удары под дых, вышибающие из надежды в отчаяние. И обратно...

Обе книги — «Смещение» и «Судьбы моей поле» — вышли в один год одна за другой, на обеих стоит – 1991. Годом раньше вышел коллективный сборник стихов о войне «Гордость и горечь», куда вошла и большая подборка стихов Сопина. Это всё, что он имеет после 20 лет мощнейшей, интенсивной работы. Мало. С этим, кажется, согласились даже сильные мира сего, пытаюсь выделить средства на новую книгу Сопина. Звонили мне однажды из городской администрации, из отдела культуры, кажется, О. А. Киселева, спрашивали, неужели трех книг мало, и я, как могла, доказывала, что мало, ведь он всё время так много пишет. Я об этом проекте узнала случайно, так как Сопины велели вернуть находившуюся у меня стихотворную рукопись Михаила Николаевича. Я уж собралась сама заниматься изданием, начала делать набор, а данные материалы хотела поставить послесловием. Но наверху решили отдать эту священную для меня работу издателю А. Гребенщикову. Печатали тираж в Костроме. Гребенщиков был пробивной и получил выгодный госзаказ, а я выплакалась и молчала. Здесь не только воля сверху повлияла, нет, он сам не захотел, он отвернулся, решил — я не сумею...

После выхода книги мне звонил депутат В. Громов и требовал провести презентацию в областной библиотеке, хотя я работала в Центральной городской библиотеке. Я понимала недоумение своей администрации и не могла разорваться. Никому не приходило в голову, что я готова для Сопина в лепешку разбиться, люди разговаривали со мной грубо, повелительно. В конце концов презентация прошла в Центральной городской библиотеке... еще через полгода

Выход книги «Обугленные веком» имел свою историю. Первые обладатели сигналов нашли в книге опечатки и пожаловались. Большой тираж 5000 экземпляров замуровали в издательстве, настаивая на разборе брака. Мои требования прекратить формальные проволочки ни к чему не привели. Я ходила к издателю Гребенщикову и покупала книги на свои деньги, потом он давал их на реализацию, я убеждала бибколлектор пустить эти книги по районам, но бибколлектор,



много лет чётко снабжавший районы новыми книгами, в тот момент уже был в долгах, и, естественно, не мог ничего оплатить. Я в отчаянии пошла к начальнику городского отдела культуры Н. Лазаревич, но она даже слушать меня не стала — дескать, надо вернуть городу потраченные 16 тысяч. Однако о 30 тысячах, выделенных для тиража книги «Искры памяти» Романова, так никто не скорбел...

Литературный вечер под знаком новой поэтической книги Михаила Сопина прошел в Батюшковском зале (мемориальная квартира-музей в педучилище) 20 октября 1995 года. Многие гости в первый раз держали в руках саму книжку «Обугленные веком» — четвертую сольную книгу поэта. Не потому ли так силен был паралич присутствующих, которые молчали, будучи не в силах сказать трех приветственных фраз? Впрочем, подобные явления характерны и для других вечеров и не только по поводу Сопина. Одним из общепринятых законов, царящих в литературной среде, является полное нежелание понять друг друга. А я-то как раз стремилась, наоборот, создать вокруг каждого любовную, заинтересованную атмосферу...

Это не было официальной презентацией, скорее дружеской встречей — просто поэта пришли поздравить его близкие, друзья, товарищи по литературному объединению «Ступени», поклонники таланта. Особая роль выпала супруге поэта, журналистке «Вологодских новостей» Татьяне Сопиной, которой посвящена книга, поэтому поздравления адресовались ей в первую очередь. Ни для кого не секрет, что жена — его соредaktor и соавтор и без ее суровой школы писательство Сопина могло либо пойти совсем другими путями, либо не состояться вообще.

Среди гостей оказалась поэтесса Ольга Фокина, она пришла на вечер, слабая от температуры, — Сопин обрадовался этому как ребенок. Потому что между нею и Сопиным всегда была стена, как, впрочем, между ним и остальными членами союза. В основе — полное невосприятие друг друга. Она его когда-то прочла, не поддержала, он воспринял это болезненно. А у меня была идея «познакомить» их по-настоящему, мне казалось, что

они в чем-то главном едины. Звонила, договаривалась — всё бесполезно. Были только формальные встречи.

А еще пришел лечащий врач-кардиолог Виктор Ухов, спасавший жизнь поэта в момент инфаркта. Известная пианистка Елена Распутко, поклонница сопинской поэзии, сопровождала вечер своими изысканными рояльными импровизациями. Бах, Шопен, пристальный взгляд Батюшкова из глубины зала — всё это возвышало и одновременно связывало. Ах, музыка, не затыкай мне рот...

### **СПОСОБ ЖИТЬ**

Он был для меня всё — мой дневник, который я писала, начиная с шестнадцати лет. Он учил меня запоминать, оценивать, размышлять над причинами. И много лет прошло, прежде чем я написала свой первый рассказ. Потом дневник стал фиксировать порывы к сочинительству, подсказывать структуру очередного опуса. Сначала я писала, чтобы выжить, а потом заметила, что это работает не только на меня, но и на других. И тогда я заторопилась: мне хотелось рассказать обо всех, кто задел мое сердце, но так, чтобы они остались не только со мной, но и со всеми... Это не умещалось в дневник.

В этом мы совпали с Сопиным. Он тоже писал дневник, правда, позже, двадцатилетним, но цель его была та же самая.

Я брала, чтобы жить. Это было противоречие — мне хотелось отдавать, но было нечего, или я не умела. А Сопин жил, чтобы отдавать. Причем от отдачи ничего не уменьшалось, только становилось больше. После встречи с Сопиным я начала понимать, как жить, чтобы отдавать. Я пишу, чтобы жить. Сопин жил, чтобы писать.

Я знаю, он ненавидит слово «выживать», но я намеренно его употребляю. Что поделать, если столько знакомых мне людей не сошли с ума, не спились, не повесились, не ушли в монастырь, не сели в тюрьму, то есть выжили только по одной причине: удержали слабеющими пальцами ручку, начали писать. Конечно, некоторые ушли уже после того, как начали писать, и именно по

причине того, что начали. Но это уже другой вопрос. Даже Сопина творчество вытягивает из его черных дыр. Маячит впереди что-то, уводящее от прямой животной данности — туда, где существование на порядок выше!

Какое счастье, что во мне сидит что-то, мешающее мне согласиться с тем, что есть! Как раз это недовольство футболист из теплого бытия, создает дискомфорт, не дает дышать... И я поневоле вышибаю фортку, чтобы глотнуть воздуха.

Бытие Сопина никак теплым не назовешь. Он по жизни приговорен к самой крутой внутренней революции, которая не прекращалась в нем никогда и привела его к необходимости сказать свое слово. Все его потоки — исторические, социальные, этические — они захлестывали его, тащили по ревущему течению и, поскольку надо было выжить, — приходилось меняться. Осознавать и меняться. Хватая инакий воздух по необходимости, вылетел в другое измерение.

Как сказал Михаил Анчаров: «Искусство — способ жизни. Причем высший ее способ». Мне повезло это узнать от Анчарова, а Сопину пришлось до этого дойти самому и без подсказок. Он сам двигался, падал, вставал с четверенек, держась за разбитые места, сам срывался в штопор и сам из него выходил.

У Анчарова и Сопина много общего. У них разница в годах всего восемь лет, одно поколение. Оба прошли молотилку войны, оба выжили и сами догадались о своей сверхзадаче. Причем так, что получилась модель и для других. У обоих получился выход на литературу. У обоих внутри сидит невероятная любовь к человеку, которая позволяет не кичиться своим ценным опытом, а понимать всех скопом и каждого по отдельности.

Может быть, если бы Сопина не давили столько лет в лагерях, то он бы еще перегнал Анчарова по части светлого будущего, где опыт радости ценился выше опыта беды. Но Сопин не выбирает, живет ту жизнь, которая досталась. И за сопинский опыт беды заплачено такой высокой ценой.

Их роднит жуткое, бешеное озорство. То, чего нет у обоих — это, прежде всего, нет чванства. Анчаров меня благословил, а

Сопин заставил писать. Анчаров сказал: «А кто тебе мешает? Конечно, художник может повлиять на историю хотя бы даже тем, что предчувствует и приближает будущее. Но творчество ведь такая штука, что его специально не раздуешь, оно само пойдет, и тогда только успевай крутиться».

Об известных мне публичных выступлениях Сопина скажу отдельно. В рамках мероприятий Союза писателей России иногда проходили литературные вечера, на которых он обязан был присутствовать как член союза. Но он, как правило, на них не выступал. Почему — это становится ясно, как побудешь хотя бы на одном таком вечере. Довольно одного раза.

«Некогда подобные встречи собирали толпы почитателей, — сказала, открывая тот вечер, заведующая читальным залом библиотеки им. Бабушкина Марина Терехова, — они до отказа заполняли зал...» Нынче зал был полупуст. Грязев торжественно открыл встречу, пояснил, что 33 человека насчитывает Вологодский союз писателей, из них 26 вологжан, 4 черепанина, по одному — в Устюжне, Никольске и Соколе. Традиционные публичные встречи стали очень редки, хотя интерес к ним есть и у читателей, и в самой пишущей среде. Но слово «отчет» уважаемые литераторы поняли чересчур уж буквально. Они выходили бочком к трибуне, говорили уныло несколько фраз и уходили. Такое впечатление, что шел допрос. И сама трибуна, и вся обстановка напоминала партийный пленум. «Память Федора Абрамова почтим вставанием». Встать — сесть. («А чтобы почитать Абрамова, его можно просто почитать», — сказала Фокина.)

В президиуме сидели: Александр Грязев, Виктор Коротаев, Ольга Фокина, Василий Белов, Сергей Алексеев, Роберт Балакшин, Борис Чулков, Михаил Карачев, Владислав Кокорин, Татьяна Хрынова. В зале просматривались Николай Толстикова, Михаил Жаравин, Валентина Старкова, Юрий Богословский, Инга Чурбанова, Олег Ларионов, Андрей Смолин, Виктор Плотников, Михаил Сопин... Кстати, он сидел с платком и сморкался. А вскоре встал и вышел.

Александр Грязев доказывал, что трудно издаваться и молодым и старым литераторам, и, тем не менее, молодым внимание уделяется: вышли «Соборная горка» и «Первая победа», вышел посмертный «Далекий плач» Шадринова, «Три заклатья» Кокорина, «Блесны» Чурбановой. 11-й номер «Севера» вышел как вологодский, в Москве вышло «Возвращение Каина» Алексеева...

Виктор Коротаяев прочел два старых стиха про Рубцова, но его выступление было интересно как слово издателя:

«На моей совести — альманах „Вологодский собор“, книги Железняк и Романова. Думаю, справлюсь с ними, как и со своей совестью (?)». Роберт Балакшин остался верен исторической теме: кроме публикации в «Севере» («Троицы чистый дом»), работал над «Именословом», посвящением Сергию Радонежскому, а главный труд — «Россия — это сама жизнь» (заметки 300 иностранцев о нашей стране). Владислав Кокорин прочел хорошие стихи, впрочем, знакомые уже по книге «Три заклатья». Сокольчанка Татьяна Хрынова проникновенно декламировала про Рубцова.

Ольга Фокина — после вставания в честь Абрамова — заметила, что не знает, как бы посмотрел на всё сам Абрамов, но то, что стоять надо на своём, это точно. И стала единственная читать свои новые стихи, среди них и такие, что появились буквально накануне. И был в них опять элемент неожиданности: много политики, социума и энергии. Великолепен на писательской трибуне Сергей Алексеев в белом пиджаке. Он интересно говорил о том, что нынешнее время, несмотря на горе и жалобы, дает живой материал для художника (а сам-то пишет романы о прошлом), что от нехватки и бедности мы впадаем в бытовизм, и духовность исчезает. Алексеев издал два романа за прошлый год (для горестного времени это просто невероятно). И как книгу рядят в суперобложку, так писателя рядят порой в рубаху с петухами. «Нами управляют секс, деньги, развлечения. Что происходит с совестью? Я смотрел в бинокль, как танки у Белого дома шли на людей. Как оправдывается такой танкист перед совестью? Оправдания нет...» (А как оправдывается сам Алексеев? Умалчивает). Борис Чулков напомнил, что

настало десятилетие перестройки и соответственно, стихи его об этом (нашел, что отметить). Что подготовлено четыре новых рукописи, но когда это будет издано — бог весть. Читал про два бизнеса, про «убийца царей». Не очень внятно...

Петр Солдатов, в прошлом двадцать пять лет отработавший в драмтеатрах и написавший 200 песен (ныне хозяин пасеки), спел для зрителей две песни и, хотя пел хорошо, сбился от волнения. Единственный человек, который волновался в этом зале.

Из публики задавали вопросы: скоро ль выйдут книги Романова и Полуянова, какое влияние оказало творчество Коротаяева на его сына. «Какое? Да такое же, как у Фокиной, у нее тоже дочь пишет», — ответил Коротаяев. Тут бы самое время дать слово дочери, но нет, дело шло по заведенному сценарию, и слово дали Михаилу Карачеву. Тот, бесспорно, очень много делает, сохраняя облик Вологды, но, как говорят, стихи от этого только теряют.

Неизвестно — почему, но Василию Белову дали слово в самом конце (традиционно он всегда выступал в начале). Он сказал, что издано в Москве четыре книги, но то, что в Вологде нет ни одной — не его вина. «В Вологде ко мне плохо относятся, — заметил он, — МХАТ решил ставить мою новую пьесу, а наш драмтеатр отказался». А потом Василий Иванович решил почитать стихи: «Мериме перевел сербскую поэзию без рифмы, а я с рифмой». Долго читал, все устали, но не перебивали.

Финал вечера: Людмила Балакшина решила возразить, буквально — Алексееву, а по существу — многим. «Разве можно говорить, что нами управляют секс, деньги, развлечения? И всё? Разве могут с этим согласиться сидящие здесь? Ну, Сережа, глупость это. И говорить о бездуховности народа! Вы хоть бываете на концертах? Вы знаете, сколько людей туда ходит? И насчет рубахи с петухами. Нашего писателя не то что в рубаху с петухами, а и в смиренную рубаху не одеть!»

Аплодисментов море, как всегда. Кому? Тем, кто ходит на концерты или тем, кто «оплакивает бездуховность»?

Народ стал выходить, и в шуме кто-то всё еще спрашивал Василия Белова о политике. А логическая точка уже была поставлена. И Сопин ее всегда видел заранее. Он сморкался, кашлял, прикидывался больным и уходил на середине. Его воротило от фальши и официоза.

Да, была такая мода в Вологде: приглашать на литературный вечер, писать на афишах громкие имена. А когда народ доверчиво соберется, поэтов «разбавят» кандидаты в депутаты. По-настоящему на одних кандидатов никто не придет, вот и приходится под видом литературы пропихивать всякое разное... На такой вечер однажды попал и Сопин и тоже не вышел выступать. Его продержали за сценой почти два часа. Разве это не подтверждение его взглядов? Этот позорный, позорящий всех обычай сохранился и до сих пор. Сомневаюсь, что все эти депутатские речи стоили хотя бы одного, так и не прозвучавшего, сопинского стиха.

Сопин не раз признавался, что ему дорого имя Шаламова. При известном сопротивлении он всё-таки на Шаламовские чтения пошел. Волновался, скрывал это, как скрывал склянку с горькой во внутреннем кармане пиджака. А дальше всё было непонятно...

Открыла вечер искусствовед Марина Вороно. Ирина Сиротинская рассказала о судьбе последней публикации Шаламова. Подготовленные ею отрывки из дневников Шаламова она хотела отдать в журнал «Знамя», который вообще Шаламова печатал много. Побывавший на чтениях 1994 года поэт О. Чухонцев уговорил отдать их в «Новый мир». Только попросил дать предваряющую статью, «амортизацию» слишком резких кусков. Тепло восприняв проникновение Чухонцева в шаламовскую тему, Сиротинская согласилась и написала статью. В это время из «Знамени» звонили и протестовали. Но потом начались тягостные переговоры с редактором «Нового мира» С. Залыгиным, который требовал снять всего несколько фраз (особенно высказывания о Твардовском). Возмущенная Сиротинская отказалась снимать и отдала материал в «Знамя».

После этого замолчало «Знамя».

Они тоже высказали сильные сомнения, что смогут напечатать всё. Материал так и не появился — человек, столько выстрадавший, до сих пор не может говорить всё как есть. Даже после смерти бояться, чтобы он во весь голос не заговорил. Он никогда не относил себя ни к одной группировке и до сих пор не годится ни в один журнал. (Я поразились, насколько всё это было похоже на Сопина.)

Лора Кляйн, аспирантка из Мичигана, побывала в Кадьяке, где служил священником Тихон Шаламов, и нашла две неизвестные фотографии матери Шаламова. Она собирается ехать на Колыму. Она считает: человек всегда узнается в крайних обстоятельствах, как показано у Шаламова. Сила его прозы не только в сюжете, но и в звуковых повторях, которые еще сильнее действуют. Роже Вильтц, журналист из Страсбурга, рассказал, что во Франции появился большой интерес к Шаламову, много его издается, и есть возможность писать об этом. В заключение Александр Дулов, ученый-химик и знаменитый московский бард, спел свою программу на стихи Шаламова.

Странно, что вологодские писатели полностью игнорировали такие акции. Из Америки народ едет, мы через площадь переехать не можем... Может, из-за Есипова? Но это как-то мелко... Сопины единственные оказались из писательской среды. Я хотела познакомиться их с Дуловым, но они ушли. Стала звонить — из Сопина хлынул поток проклятий. Оказалось, он совсем не воспринял шаламовскую встречу, ему не понравился никто, наоборот, все удручали. «Разве она поймет в мягком вагоне, что такое „Колима“? Туда надо ползти под прикладами, тогда поймешь. Да и сам он, если б увидел, взорвался. Вы же не о нем, вы о себе говорите! Колима! Затрахаετε своей любовью так, что не то что дышать — жить не захочешь».

Неужели надо гнать прикладами всех этих людей — Сиротинскую, например? Я спросила дрожащим голосом, почему он не встал и не сказал об этом прямо в Доме Шаламова. А Сопин что? Посчитал, что это лишнее, всё равно он тут не вписался. Уверена — говорить то, что думаешь — надо, люди не

глухие и не ради себя ехали за тысячи верст. Сопин сам меня учил понимать других, но его прямо-таки выворачивало. В чем дело, прав был Сопин или нет?

Помню, я тогда написала об этом эпизоде в «Красный Север», после чего мне позвонил главный организатор чтений и публикатор его произведений Валерий Есипов и стал гневно распекать меня. Как это я позволила себе обсуждать чтения, да еще ставить под сомнение их целесообразность, да без его ведома, тем более что я в этом ничего не понимаю и т. д. То есть он запрещал мне на будущее касаться темы Шаламова, неважно, в связи с Сопиным или вообще. Я уловила, что Есипов «начальник по Шаламову» и действительно, впредь постаралась близко в это не вникать. Лично мне было там интересно, я в 1994 году даже газету делала на тему Шаламова, но Сопин для меня был авторитет, и я впала в сильное противоречие. Сопин не мог объяснить, его бесило даже то, что я не понимаю. А с кем еще обсуждать? Только с Есиповым, знавшим тему лучше других. Но разве Есипов снизойдет до этого? У нас не любят никаких сомнений. У нас тоталитарный режим. И что касается «прав — не прав», то опять же Сопин прав был со своей, высшей точки зрения. «Муссировать» шаламовскую боль преступно, это профанация, смакование, нельзя это смаковать.

Раз уж я коснулась в связи с Сопиным «общественного момента», придется сказать и о тех случаях, когда Сопин НЕ отказывался говорить. Это было, например, захоронение останков расстрелянных репрессированных в д. Чашниково под Вологдой. Останки были нечаянно обнаружены, очень много, без гробов, с личными вещами, следами смертельных ранений, найти виновных после стольких лет невозможно, и вот власти организовали такую акцию — перезахоронить, помянуть, отпеть. Выступали Г. Судаков, редактор областной Книги Памяти, Л. Сермягин, прокурор области, К. Шохичев, репрессированный из Грязовца, М. Пономарев, репрессированный из Семенкова, отец Михаил, архиепископ Вологодский и Великоустюжский, М. Сопин, поэт. Обстановка была нереальная, суровая, очень холодно,

душа вся смерклась под непрерывный гул и крики. Народу на поле собралось несколько сотен. Старушка одна почти падала, просила таблетку — не было сил стоять. На высокий дух настраивал отец Михаил: «Несмотря на безобразия, которые мы творим, нам еще есть за что благодарить Бога, мы еще помним, что такое смирение, благодарность павшим, мы способны любить страну, как любили ее предки, страдавшие за нее». А лучше всех всё равно говорил Сопин. Голос рвался ветром, хрипел микрофоном...

«Трудно говорить мне — трудно жил. Но, размышляя сегодня над тем, что происходит, хотел бы сказать: мы еще не осознали себя как граждане. Если в стране есть палачи и жертвы, то это страна рабов. Пока что конца этому нет. А у клочка этой земли мы должны понять одно: здесь лежат кулаки, большевики, здесь лежит народ, с которым мы связаны кровно, мы с ним одно. И если не научимся говорить «здравствуй», то будем обречены на вечное «прощай».

Нет тебе начала, нет конца  
По многоязычному молчанью  
Я тысячелетье беглеца  
На родной чужбине отмечаю  
В угнетенном катами краю  
Вижу всепоруганную сушу  
Родники... Едва влачу свою  
Прахом переполненную душу  
Через злобный баррикадный зык  
Через стоны, пули, вопли раций  
И бессильно молвит мой язык  
Не стреляйте, не стреляйте, братцы...  
Дети смотрят... Одного хочу —  
У Христа Спасителя свечу  
Воску цвета красного, как стяг!  
Пусть горит распятем на костях

От песков балтийских до Сибири  
Освящая горний окоём —  
Ради всех, которых истребили  
В пик резни в Отечестве моем».

Что со мной было тогда. Я закоченела, застыла, но самое главное — позвоночником поняла, с кем меня судьба столкнула. Человек слишком большого масштаба, мыслитель и бунтарь, он был вровень со страной, он мог себе позволить говорить с ней на «ты». Поэтому всё время была несостыковка. Мы на одном уровне, он на другом, выше.

Реакция Сопина на окружающее всегда переворачивала всякие привычные представления. Однажды на шумном сборище поэтовом, где не поймешь, чего больше—водки или собственного величия, Сопин сидел, очень мало пил и вслушивался в дерзкие молодые речи. Вошел некто... и ну поливать всех помоями. Я не стану его называть, он знает — почему, сильный литератор, а вот спился, пошел бродяжить... В числе других и Сопину досталось под пьяную лавочку... Я уже готова была вцепиться в горло пришельцу, как вдруг Сопин подошел к ругателю, положил ему руку на плечо и тихо спросил: «Что с тобой, дружок, тебе плохо?» И тот сник. Сделался тих под маленькой жесткой сопинской ладонью. Потом Сопин сказал: «Когда кто-то на тебя едет танком, не бойся за себя, но за него. На других лезут от безвыходности. Всё зло идет наружу изнутри».

### СОПИН НА «СТУПЕНЯХ»

Сопин сам был заводной и других заводил страшно. Ведущие лито «Ступени» в 1988—1989 гг. вологодские поэты Михаил Сопин и Юрий Леднев устраивали такие жаркие споры, что пух и перья летели. Это был веселый стеб двух друзей, с которыми хотелось быть вровень, хотелось стать умней — но за это люди жизнью платят.

Трагическая личность Сопина открывалась мне не сразу, но он много сделал для моего авторского становления. Требовал

честности (только не ври!), глубины (а почему?), недовольства собой: «Пока ты недоволен, ты жив, как только понравился себе — пиши пропало, нет автора!»

М. Сопин родился на Курщине в 1931, мальчишкой был ввергнут в мясорубку войны, водил наших солдат через линию фронта, беспризорничал, попал в колонию, намотал срок побегами. Страна избавлялась от сирот военного времени просто... Писать начал еще в лагерях, на свободе жил в Перми, потом в Вологде, где вышли все основные книги поэта — «Предвестный свет», «Судьбы моей поле», «Смещение», «Обугленный веком», «Молитвы времени разлома» — они ждут своих аналитиков и литературоведов. Вдова Т. Сопина продолжает упорно работать над архивами, находя в них настоящие откровения века.

Когда я в 1988 году появилась на ЛИТО с легкой руки Ольги Смирновой-Кузнецовой, Сопин там уже был. Но он был так краток в высказываниях, что я не успевала пристать к разговору. Я просто кожей чувствовала его присутствие, боясь раскрыть рот.

Шутки у него обычно были довольно зловещие, а про наших поэтов и прозаиков он всегда говорил прочувствованно, никого не ругал. На обсуждении стихов и рассказов Нины Бахтиной, которую всяко-разно и хвалили и осуждали, он заметил: «Судя по стихам, на этого человека можно положиться... Есть силой автора созданный мир, и мир этот постоянно борется с миром реальным. В этом заключено противоречие».

На первом обсуждении Миши Жаравина: «Влияние профессии на творчество и обратно, какая связь? Никакой... Важно не само бытописание, а то, какие из этого вытекают обобщения... Длина стиха. Чем длиннее стих, тем опаснее. И дело не в длине, а в целостности. Надо всё подать в монолите. А у Жаравина пока материал управляет автором, а не наоборот... Я старая взбесившаяся крыса, у меня в доме ни шиша, и в государстве ни шиша («сопинское озверение», решили мы тогда, а то бывает еще «жаравинское»)...

У Сопина была способность проникать в чужое слово, вылуцивать из него генеральную идею.

Удивительно точным показалось мне высказывание Сопина: «Как мы привыкли требовать от всех СВОЕ, как забываем о значительности другого человека, — с грустью заметил он, — коновалы мы, товарищи...» Вообще многие фразы, которые были услышаны от Сопина, становились летучими. Я цитировала их потом на своих выступлениях. И не только я. Уже в 1990 году я пыталась читать людям свои первые стихи, посвященные Сопину. Таким образом я хотела осмыслить человека, с которым столкнулась. То есть литературная технология была, как у него, толчком было желание понять...

Позднее отдельные стихотворения переливались одно в другое и образовали «Горькую поэму». А тогда у меня были отдельные кусочки, а также песни на стихи Сопина. Сопин очень редко читал свои стихи на заседаниях, но если это происходило, то все цепенели. Наступал настоящий паралич: ни слова сказать, ни шевельнуться не могли. Это были «стихи насмерть». По словам Кузнецовой, он читал очень напористо, а я пела их слишком мягко.

Конечно, я показывала Сопину все свои литературные опыты. В рассказе «Колбасная эпопея» его привлекла фраза «Вон они, девки завкомовские бегут, только чем они свою колбасу заработали, каким местом?..» Я тогда не понимала, что его привлекли не эти бедные женщины, а те, кто заставил их быть заложниками еды, те, кто придумал талоны. В «Капкане для амура» он пристал к выражению — «у Киры был любовник, которого посадили». Десять раз повторил эту фразу. Я так удивилась, ведь тогда я не знала, что это для него значит, не знала, что пережил он сам, когда «его посадили».

Рассказ «Аллергия» он прямо-таки вынуждал меня писать, сто раз напоминал: «Так когда ты напишешь про эту беднягу, которую драли на сухую?» А я долго не писала, не могла же я ему признаться, что боюсь, как бы на меня родственники не окрысились. Этот рассказ потом на семинаре вызвал поток хулы, но я не расстраивалась: Сопину же понравилось. Помню, что Михаил Николаевич всегда интересовался, входил в детали, -

«горел» рассказом в процессе написания, а после, когда дискутировать было уже не о чем, терял интерес. Рассказ про Дамиана, например, он вертел так и эдак, развивал версии, как-то копал вглубь, хотел уйти от плоского повествования, и чтобы пошли аналогии героя и рассказчика. Позже рассказ действительно «поехал», не я его расширяла, он сам рос, это Сопину не нравилось. Он часто повторял, что вот, мол, опять материал потащил за собой автора, а не наоборот.

Сопин сказал: «Ты порешь по-чёрному. Ты не должна смущаться низостью того, что ты изображаешь. Всё, что ты успеешь сказать между кастрюлями, корытом и детскими воплями, есть документ времени». Стихи Сопина заставили меня очень сурово относиться к тому, что я пишу. Выделяться перед человеком, который прошел все круги ада, как-то неудобно. Кухню творчества надо изучать у Сопина на кухне, где он, свистя прокуренными легкими, сыплет папиросный пепел и веселые матюги, рифмует «пальца-яйца» и из всего «странного» выкидывает букву «т».

Одобрение никогда мне не высказывал, в смысле — не хвалил. Никогда. Мне бы сразу понять, но я шла напролом. Его интерес уже был похвалой для меня. А однажды он прочитал черновик рассказа «Инверсия» и сказал: «Светло как-то, благостно стало на душе». С рассказом «Зима в зеленых травах» — я так ничего и не поняла, что он хотел сделать. Это мелкая тема о ненависти между человеком и кошкой, и вот, чтобы кошке Зиме сохранить жизнь, увезли ее в далекую деревню... Бытовой такой рассказ, попытка написать о человеке без любовных шашней, а Сопин, читая, всё кричал, а потом потребовал, чтоб я в конце написала «долой президента». Я подумала, что он опять издевается, и обиделась. А он — «эх ты»... Он считал меня мелкой, несерьезной.

Что касается стихов, тут он был гораздо жестче. Он переставлял мои строчки, начало и конец менял местами, а мне было жалко, переделывать не умела. До того сростаешься со своими сочинёнными словами, прямо ужас.

В 1991 году Сопины дали мне денег на мою книжку («получили деньги за мальчика»), а я выпустила коллективный

сборник прозы Волковой, Жаравина и Щекиной под заголовком «Перекресток любви и печали», заголовок тоже придумал Сопин. Это была наша первая книжка, и ею мы обязаны Михаилу Николаевичу Сопину. Он — крестный.

Потом в 1992 мне предложили в том же КИИСе книжку стихов сделать. Захотелось Сопина спросить, да чтоб он помог отобрать, а мы были в ссоре, и я не могла никак через свою обиду переступить. Он позвонил, я сразу пошла напролом: «А что, стоит мне стихи печатать?» На грубый вопрос получила грубый ответ: «Выкинь их в нужник». Меня ошпарило: «Что же вы раньше не сказали?» — «Я сказал, что работать надо». — «А зачем работать, если ничего нет, если бесполезно?» — кричала я. — «Работать надо, говорю».». Из целого стиха соглашался с двумя строчками, серьезно, за три года знакомства отметил две строчки. Никогда не смотрел на содержание, например, если даже ему посвящено, нет, он смотрел только на адекватность изложения.

«Знаешь, как ты пишешь? — говорил он. — С неба свесилась веревка, кто-то свесил там ее. А в окно вползает ловко волосатое зверье! Немотивированное начало и непонятное, скачками, развитие! Нужна мысль, которая бы всё объединила, связала весь стих в одно предложение. А так всё разваливается. Есть, конечно, просветы, есть сильные моменты, догадки, за которыми напряжение, энергетика чувств. Именно это и печалит. Потому что неделанность, оттого непонятность. Энергетика взрывается там, где не надо, давит автора, волочет за собой...» Я начинала читать:

Мы прошли долину снов  
Отступала ночь печали  
Ветры зависти качали  
Нас от кроны до основ...

«Смотрите, деревья — это мы, — разбирало меня, — дальше понятно, что такое листья строк...» — «Не объясняй! — отмахивался он. — Редактору ты ничего не объяснишь, всё уже на бумаге должно быть. А если начинаешь объяснять — последнее дело. Один поэт пишет книгу про рапид, потом долго хрипит,

объясняет, что такое рапид, а потом приходится отдельно писать книгу, чтобы объяснить всё». — «А про то, что мы прошли долину снов?» — «А ты сразу обратись: «милый мой, долину снов»». —

«Да скучно это «милый мой», банально, надоело». — «Ну, если надоело, так и говори — «долбо... б, долину снов...». Я засмеялась.

Сопин всегда говорил мне, что лучше бы я писала прозу, там больше шансов. Потому что, если первая книжка — проза, да еще более-менее, то вторая со стихами и слабая — простится, а если со стихами первая, да плохая, то вторую, с прозой, даже хорошую, не воспримут... Теперь, когда не воспринимают вообще ничего, это превратилось в условность, но тогда еще во что-то верилось, казалось, дело только в тактике.

Кроме абсолютной честности в работе он буквально заклинает автора не идти на самопровоцирование: «Журнал меня не напечатал, а напечатал это „г“... И о чем же это?.. Так у меня же лучше! Ах, вы...» Так начинаются литературные драки, не имеющие ничего общего с настоящей литературой, это уже окололитература...

Сопин на ЛИТО появлялся как спасение (был тогда, когда ему еще было это интересно, а потом интерес этот угас). Любая стоялая вода начинала при нем бурлить! Парадоксальность мысли и сладость спора были обеспечены. Сопин и Леднев заводили собрание с пол-оборота.

Летом 1991 года возник резонанс на публикацию его стихов в «Нашем современнике» — пришло письмо от русского эмигранта А. Коротюкова и дарственная надпись на книге «Поэту Михаилу Сопину, чья боль — моя боль. Монтерей, США». Для меня это было равносильно международному признанию.

Вскоре вышли еще две книги — «Судьбы моей поле» и «Смещение». Говорят, что в 1991 Оботуров предлагал ему войти в Вологодскую писательскую организацию, по-настоящему это, видимо, был Союз писателей России (Ленина, 2). Но никто не осмеливался обсуждать на ЛИТО сопинские книги. Считалось, он великий мэтр и всё. Но это просто отговорка, а на



самом деле — стыдно было признаться, что материал не освоен... По таким строчкам нельзя было тупо скользить, они заставляли корчиться...

Мне было обидно, я провоцировала других: «Мы месяцами колупаем незрелых новичков, в то время как рядом с нами хрипит прокуренными легкими титан духа». В ответ мне молча усмехались.

В первый раз я серьезно задумалась о Сопине после обсуждения моего рассказа «Капкан для амура» (черновик назывался «Новый год, Боровое»). Сопины после ЛИТО поехали со всей компанией на троллейбусе №2. Михаил Николаевич буквально «задолбал» меня фразой из моего рассказа: «У Киры был любовник, которого посадили. А!?» Но это был интерес не к Кире, а к тому, кого посадили. Я не понимала, что это значит для Сопина, поняла позднее. Ангелина Сергеевна Соловьева из профсоюзной библиотеки подшипникового завода однажды спросила, за что посадили Сопина. Меня тоже стал сверлить этот вопрос. Человек притягивал меня как магнитом.

Начала я носить Сопину всё, что появлялось у меня нового. Я почувствовала в нем честность, правду, умение просечь явление до сердцевины... Я боялась его, но поле, которое вокруг него держалось, это поле, электрическое, мощное, меня питало. Он подсказывал, как улучшить. А коснись его самого — отбой. Ему ничего нельзя было подсказывать, подгонять, переспрашивать, у него всё менялось моментально, еще вчера горел, а сегодня мог буркнуть: «Поди поссы». И всё. И разговор был окончен.

Начала записывать разговоры с Сопиным о его жизни. Показывала Мишке Жаравину — он поразился, одобрил.

«Читал черновые наброски и был поражен. Галина (или мне это показалось) не ставила перед собой задачи — вышли из пункта А в пункт Б... Ей гораздо важнее нагромождение обрывков памяти и осознание любви к человеку. Любви среди грязи, унижения, предательства. Там мятущаяся душа, открытая рана поколения отцов. Война за нас и против нас. Не знаю, как оценит Сопин труд Галины, но, на мой взгляд, вещь нешаблонная, сильная.

Читал и жалел, что она не окончена и невозможно прочесть до конца».

Но дело с моей рукописью пошло вкривь и вкось. Сопиным не нравилось то, что я делала. По их мнению, биография не должна выглядеть такой, а какой она должна быть — я не знала. И они не знали. Сопиной было особенно обидно, она хотела, чтобы биография была на века и отражала ее отношение. Но это было возможно только тогда, когда она писала бы ее сама! И чего больше всего не хватает в этой книжке — это как раз взгляда жены, спутницы, подруги, матери его сыновей!

Она один-единственный раз поговорила со мной по-человечески, а после всё воспринимала в штыки. Например, для меня очень важна была их переписка, когда он еще был на поселении. Ведь там состоялся важнейший рывок его души к новому состоянию, новому умению... Там он начинался как пишущий человек. Сопина писем мне не дала. Она боялась, что описание его жизни каким-то образом связано с самой жизнью: «А вдруг он умрет?» Но я воспринимаю его по-своему, именно как гремучую смесь высокого и низкого. Сопин говорил, его не понимали. Но здесь он сам не хотел понять меня и не помогал мне понять его. Я пыталась прыгнуть через себя, падала и ударялась больно. Когда я дала Сопиным читать черновик, они обещали делать поправки. Но отдали обратно целиком и сказали — так не пойдет. А как пойдет? «Начни с кончины хомяка...»

И ушли. Я долго стояла столбом. Я умирала. Не понимала, как такое может быть. Сначала они хорошие, доверили, приблизили, а потом — прочь. Не понимала, почему они могут что-то запретить мне, они, с их свободомыслием и широтой взглядов, как же можно запрещать другому, отнимать эту свободу мыслить по-своему! Сопин молчал. «Твое не должно быть меньше моего». Он требовал, чтобы я говорила на равных. Но я тогда еще не умела быть на равных, я смотрела на него снизу вверх, раскрыв рот...

Сопин, конечно, необычный человек. Я не могла его биографию расчертить на клеточки, куда там. Всё летело к черту. Меня просто захватывали и уносили все его разговоры,

настоящие потоки сознания. Он вспоминал не хронологически, а понятийно. Временами казалось — это прет рекой мощная, наполненная мыслью проза, которая не уместается в стихи, поскольку тоже стихия, но которую он почему-то не хочет или не может записывать. Хотя обрывки этой прозы во множестве обнаруживались в папках. На просьбы отдать и вставить в его авторскую речь давал любую папку, а потом жалел, пожимал плечами, щетинился: «Чувствую себя обкраденным». Как он не мог понять, что я не собираюсь ничего присваивать, я просто не могу сказать лучше его... Беседовать с ним всегда было опасно и нервно, наметить план невозможно, а как только он начинал говорить — обо всем забывалось.

5 ноября 1991 года мы поздравили Сопина с принятием в союз. А на наших заседаниях он всё больше либо сердился, либо зло шутил. То восклицал «Работать надо, а не болтать», то сочинял на ходу похабные частушки, все хохотали. Например, такие (цитата из Пресс-релиза №14, записала Е. Волкова).

Мы сегодня мелодраму  
Разнесли по килограмму...

Если следовать Донцу  
То нельзя прийти к концу.

При всем при этом  
Мы все с приветом.

Атмосфера: В воздухе флюиды летали  
И раздражали гениталии.

Герои кончают самоубийством  
Но при этом еще и кончают....

Образ переходит в без-образе  
А лирическое переходит в венерическое.

Как на прошлом на ЛИТО  
Было это, было то.  
А на этом на ЛИТО  
Не дерет меня никто.

«Я держу руку на пульсе всех событий. Галя мне всё рассказывает (Галя — стукач Сопина). Помните: если у кого заржавело, не пугайтесь, вместе разберемся. Только не останавливаться!»

Леша Швецов, помню, читал свои «кровавые» стихи, потом стихи Корнилова. Говорил о социальных корнях «кровавых» стихов, о том, что нет литературы без истории, без политики... (После его слов становился понятнее Сопин.) А Саша Алексеев твердил, что в Сопине говорит отжившее прошлое, он рано или поздно останется позади, а поэзия — она вечная. И останется только то, что вечно, не зависит от времени. Но мне кажется, что стихи Сопина как раз и не зависят от времени. Они не о войне, не о тюрьме, хотя это тоже вечные понятия. Они о человеке, из которого система делает раба, а он или сопротивляется, или нет.

Совершенно по-своему увидела Сопина на «Ступенях» корреспондент «Вологодского подшипника» Елена Волкова.

«Михаил Николаевич Сопин — большой шутник. Его шутки рассчитаны на перспективу. Над ними можно смеяться сразу и еще через некоторое время. Михаил Николаевич Сопин — трагический поэт. В его стихах — боль, бездна страдания. Не все воспринимают их. Михаил Николаевич Сопин — ласковый критик. Когда он разбирает стихи начинающих или уже приносившихся, те с удивлением узнают про себя много нового. Они могут не всё понять из того, что он говорит, потому что «Сопин позволяет себе догадываться намного больше, чем есть в реальности». Когда на ЛИТО «Ступени» были устроены «сопинские чтения», присутствующие сошлись в одном — все любят Сопина, «Потому что, — начала говорить староста, — он прожил жизнь...». — «Ничего я еще не прожил...» — отрезал поэт.

## КРИК И МОЛИТВА

### О КНИГЕ «СМЕЩЕНИЕ»

Книгу М. Сопина «Смещение», вышедшую в 1991 году в Архангельском Северо-Западном издательстве, нужно было усваивать и обдумывать. Возможно, данные заметки - это обламывание хрупких краев проруби, где лед еще тонкий. Но они могли бы подсказать дорогу другим критикам. «Смещение» — это взято из нашей жизни, где все понятия смещены, перевернуты, ценности обесценены, идеалов нет, все лучшее обречено на гибель, где страдание стало законом существования — сейчас, как в недавнем прошлом - «Садистские дознания в подвале, Где не было мучениям конца, Где к милости напрасной не зывали, Под сапогами лопаюсь, сердца...» И в таком случае «Смещение» — это еще мягко сказано. Если у нас ветер, то у Сопина - ханавей (состояние обреченности). Он на своем пути не то что смещает, а сметает! Стихи Сопина не аккуратные кирпичики лауреата, а острые, угластые глыбы, летящие в бешеную реку бытия. Он торопится успеть осмыслить, что творит с нами время. Проговаривая такие стихи, автор срывается на крик. Но это не прием, не истерика. Изначальность такого крика — и в горькой судьбе Сопина — человека, и в совестливости Сопина — поэта. «Дурманной тюрей Кодекса и КЗОТа Закармливан с детства на сто лет вперед: Согреты сердцем карцеры и дзоты. Едва скулит душа, уж не орет. Все так и было. Тягомотно. Тошно. Таков мой путь к Парнасу. Вот таков: Цинготный. Голодраный. Беспортошный. Сквозь золотую россыпь тумачков...» «За потрапу души на корню Юность пеплом смело в обелисках. Не люблю, не клян, не браню Ни чужих, ни знакомых, ни близких. А за то, что пощады просил, Был народным судом колесован. И одышливо падал без сил У таких же бессильных часовен». Говоря о себе, он обречен говорить о тысячах изгойных и увечных сыновей, среди которых столько лет находился. «Я о тех, что не встали, Глядя в небо с мольбой, И моими устами Говорит эта боль». Это целое поколение, поставленное на колени. Детдомовцы, гулаговцы,

солдаты - вот они, его северные стаи, которые до сих пор требуют: «...И в дикость масс кричи о мертвых нас». Потому что у них, как и у него, один удел - «...Свобода сквозь решетку на окне, Улыбка обесцененной любимой - Вот что досталось в этой жизни мне». Получается — нет своего или чужого, все воедино. Рушились на всех одинаково шквалы горя, и он обрушивает их же на читателей. «Хлеб мой тяжкий — дорожный мой камень. Озверелый прищур амбразур». «К отвергнутому закон не шел с повинной. То бьет нас бойня тыла, то война: Кто чист — в легенды. Мы — в глухие были. Все стройки коммунизма - наш дебют. Нацисты не дожгли и не добились - Простой расчет: свои своих добьют». «Я ведь тоже прошел По крутой, не в обход. И за все — на висках Замерзающий пот».

Сопинский путь к Парнасу — от пережитого самим — к пережитому всеми — к пережитому страной. Он судьбу страны впитал — и выкричал, и выпел. Потому и язык сопинской поэзии лишен красоты, жесткий до предела. Он, как и прожитые годы, состоит из слов «злоба», «грязь», «палач», «обрубки», «ломали о колено кисти рук»... Да, много выбрал этот язык и черного, и кровавого. Но зато много и такого, по чему Сопина узнаешь за версту. Неповторимы, яркие как молнии его образы - «траки», «пали», «глум», «безлюбье», «лиховея», «снеговей», «явь», «индеев» и «ржавь», «листопадит», «снежит», «лагеря, егеря», «вранье, воронье». Еще одна уникальная черта — обилие назывных предложений. Невероятно много умудряется сказать автор одним только простым и тяжелым, как выстрел, словом: «грунт и гравий, и тачка, и тачечник»; «жирный пепел, красный снег»; «преступно, каторжно, невинно»; «Поцелуй, похоть, вздохи, всходни - к плахе, на крыльцо?»; «Слева чаща. Леса. А направо обрыв. А с небес голоса — Плачут души в надрыв»; «Вечно, Недавно. Сегодня...»; «Пророчащее воронье. Буран народного бессилья...»; «Ни памяти, ни древа, ни колодца...»; «Орда Мамаю. Зырк Мамаю»; «Низкопоклонство. Страх. Усталость»; «Поколенья. Души. Судьбы».

Поэтическая речь Сопина до того уплотнена и сконцентрирована, что даже самые абстрактные, отвлеченные понятия становятся резче, выпуклее самой реальности: «история хлопывает в берега», «правда разрывала вены», «душа болит как отнятые руки», «по-детски ложились под танки, российской землёй становясь», «власть колет черепа», «чтоб властная клика на наших костях пировала», «вмерз иней страха», «от двоедушья, от удушья», «бьет из главных калибров усталость по разгромленной жизни моей», «зека обрубленные руки - шизоидный диагноз масс», «подбило память серой льдиной», «родина... скипелся с ней как кладка древней стенки».

Есть в стихотворчестве такое понятие - оксюморон, это формальное противоречие поэтического текста, когда рядом стоят слова, противоположные по значению, и неожиданно усиливают друг друга. Так вот: стихи Сопина — это сущий кладезь оксюморонов самых разнообразных: „светотьмища“, „правда лжи“, „слепозряще“, „грустная удача“, „утратное счастье“, „оглушающая тишина“, „на родной чужбине“, „во имя мерзости святой“, „эпоха пряника-кнута“, „все мы невольниками воли“, „культура хамства“, „людно-нелюдимо“, „до удушья, до спазм — ненавижу любя“, «плача сухо, немо хохоча...», «воплъ онемелый» и самые интересные - двойной оксюморон — «безумию ума смертельно рад» или — «со всем святым, что прежде было свято, крещусь без рук на церковь и тюрьму...». У Михаила Сопина ткань стиха наполнена гиперболами, но они направлены не на преувеличение, а на усиление, в частности, это приставки гос- и ком-. Эта приставка как бы клеймо на слове, она подчеркивает и бессмысленность, и окончательность понятия, а иногда это действует, как отрицание — «Тепло мне в госодежде».

«Спасибо, Господи, ты спас Меня от раболепия масс, От гостеррора, зверств людских, От государственной тоски, От вьюг, что в сердце мне мели - Гослжи, госпьянки, госпетли...»

В том же режиме — составные слова, слитые в одно, например: «психо - товарищей - господ». На усиление и обогащение образа работают не только смысловые, но и звуковые характеристики.

«В бетонной центрифуге века: Страна - казарма, храм - тюрьма» — прислушайтесь, как рычит и лязгает в этих строчках громадное, неповоротливое «р»... Так движется какой-то жуткий механизм.

А вот из стиха «Удары»: «Вглядись в фанерки звезд, в погосты - чащи. Легко произнося „тридцать шестой“, Мы восхваляем мрак кровотокащий, Тот ножевой, жеребий злобой взмах...» — В гудении и надсадном зуде шипящих чудится смертельная опасность пилы или косы, из тех, что косят насмерть.

Еще один пример:

«И опять согреваюсь у белого стылого полымя... И поёт мне метелица голосом дикого голубя...», «И зеленой звездой снежинка в ладонь мою белую Опустилась как елка в туманном каком-то году» - Здесь перестук «г-л-д» создает полную иллюзию власти холода и ледяного морока.

Сопин велел:

«Работай, медсанбатная строка, Избавленная жизнью от излишеств». И, действительно, она работает, как кайло, вбивает в нас правду жизни, как в каменистую почву. Даже к известным, давно надоевшим словам начинаешь относиться по-новому! Возьмем слово «душа» — не найти, пожалуй, причала поэтов, более истоптанного. Оно встречается в книжке почти на каждой странице, но не только глаз не колет, а и найти его будет сложно. Это происходит потому, что в сопинском понятии «души» нет пустого упования, а есть модификации, бесконечные преломления и оттенки. «Пригвождена к распятию душа», «развалинами душ не исцелиться», «иллюзий нет, душа, помыслим, стой», «души-свечечки горят в Сверхдержавье Черном», «кочуют стаи душ», «и листвою по октябрьской излучке гонит долгую горечь души», «душа кутёнком истощенным в пеньковом галстук сидит». Михаил Сопин не изобрел новояза. Язык его — это настоящий русский язык, которым он сумел воспользоваться по-человечески, так что, сразу ошарашивает: действительно, великий, могучий, свободный. Крик и плач по своим ушедшим братьям, по своим «северным стаям». Он то затихает в сопинских строчках, то вырывается наружу с новой силой.

Это слишком напоминает кладбищенский причет, в нем тоже скорбь непреходящая и боль неостановимая. Сопин - плакальщик погребения? Есть еще закономерность: эмоциональный накал стихов - причетов все растет, растет, кажется, еще немного - и будет не вынести. Вот тут-то и делается шаг от факта жизни к факту искусства. Высота чувств, доходя до какой-то болевой грани, переключается на иной уровень. Туда, где за ослеплением приходит прозрение, за смятением — ясная мысль. Горе выбивает человека из колеи, и он становится бессмысленным рабом этого горя. На похоронах любимого человека девушка кричит до осатанения, становится на глазах безобразной. Но ей мудро подсказывают простые слова молитвы: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас...». И она, повторяя их, выпрямляется, приходит в себя, лицо яснее. Душевная организация сопинского героя аналогична. Его плач как раз и содержит такую святую молитву, не позволяющую стать рабом горя. Иногда такой поворотный момент виден на странице.

«Сорок второй. Нас жгут со скарбом всем. Горят косички, ленточки матросок. И по живым свинцовый хлещет посох Страшной приказа двести двадцать семь... И тут я понял — если не осилю...»

Иногда весь мучительный предшествующий путь скрыт за горизонтом, и мы видим перед собой только последние, проясненные фразы. Поэт получает ядро стиха почти хирургическим путем, выделяя из одиннадцати строф всего три, но какие! Те самые, уже озаренные.

«Иду среди скопищ и сборищ Глупцов и пророков. Иду издалека - Бог знает, в какое далеко. И темную ношу несу я, И светлую ношу. И друга в печали, И недруга в скорби не брошу. Под таинством неба иду я По таинству поля. Людская неволя во мне И Господняя воля».

Тут все чисто от подходов и предысторий, тут высота и усталость мученика, терпенье философа. Недаром некоторые мотивы Сопина очень библейские, и они даже перекликаются, например, с мотивами Заратустры. Тот несет людям свою идею о сверхчеловеке, и герой Сопина хрипит свое «ку-ка-реку грядущему веку». И тот, и другой не поняты и отвергнуты.

Только пророк Заратустра, презирая «последнего человека», покидает мир ради пещеры отшельника, а сопинский пророк рубит тайгу и металл, надрывается со всей страной вместе и в то же время горько смеется над собой за то, что он «олигофрен идеи» и не может порвать со всем этим. Снова — причастность, прикованность, судьба. Если в книге «Смещение» взгляд поэта постоянно смещен в прошлое, в лагерно-военную эпоху, то в публикациях последнего времени этот взгляд все чаще останавливается на сегодняшнем дне, в тоскливом социуме которого ничего не меняется по сравнению с недавним кошмаром.

«Все нет к родному куреню Дороги мирной, без погоста. Зато родному воронью Живется радостно и просто. В державе старцев и детей, В стране обьевшихся и нищих. И я — Господь меня не спас - Прошел дождем на пепелище». «Россия, что такое ты? Откуда дикость человечья? Свистят незримые кнуты, Переувеченных увеча».

«Россия — вечный фронт без тыла», «всегда ты была замордованным краем» — это все о ней, которую он «ненавидит, любя». И даже в глубоко личных посвящениях Шаламову, Сидельникову шквально идет в нем этот глубинный поток осмысления «любви-ненависти». Разгадка проклятых вопросов по Сопину — в их противоположности. Это снова мотив оксюморона, только разветвленный и более глубокий. Своего рода философия, порожденная смещением сознания... Победа военная, внешняя есть поражение внутреннее, потому что самообман, кажущаяся правота и сила, а на самом деле — пропасть бессмыслия, духовное рабство.

«Наше детство в кровавой пыли. Под бомбежкой обиды и беды. Наша юность замерзла вдали, В долгих сумерках после Победы». Долгие сумерки — вот чем оборачивается Победа. Лексика Сопина, обычно резкая, взрывная, становится все более молитвенной, раздумчивой. Одна ли усталость тому причиной? «Лишь о пощаде не звени, не надо, щадящих в этой жизни не щадят». «Пред свечами тремя, пред свечами Мысль идет к одному рубежу... И гляжу я вокруг без печали, Без обиды и боли гляжу». «По окопам пройдя, по конвойным

скалистым аллеям, Ощувив на себе обух битвы и мирную плеть, Если ты не смогла, мы, живые, тебя пожалеем. Отрыдав от обид, должен кто-то тебя пожалеть...». Четвертая поэтическая книга М. Сопина, «Обугленные веком», неотрывна от предыдущих - «Предвестный свет», «Судьбы моей поле», «Смещение». Это продолжение крика-молитвы, в котором все меньше крика, все больше молитвы. Потому что все смещено на поле его судьбы, где предвестный свет исходит именно от обугленных... Вынужденный проклясть изнемогает от жалости и любви. В этой книге много посвящений — это смещение души в те высшие сферы, где иное видение сущего. Исход жалости, человеческого тепла из души, промерзшей на столетия — видимо, это и есть нравственный вывод Сопина-человека и Сопина-поэта. Он не тешит себя иллюзиями, предчувствует время, когда наоборот, мучительная жизнь отойдет в прошлое, он прозорлив до сердечного вздрога. И понимая это, твердо выводит: «Спёртый ветер эпохи, дорожных страниц не листай, Не найдешь там ни слова о скопище строек великих. Мы уходим, последние певчие северных стай, Гениальные — в серость роняя — предсмертные крики».

Обширны литературные полосы, литературные рубрики вологодских газет, а ни на одной долго не появилось отклика на новую, пятую поэтическую книгу Михаила Сопина, вышедшую в Вологде. Это «Молитвы времени разлома». Всего 140 страниц, но концентрация знания здесь не просто большая, она химически чистая. Сопин верен себе — он как патологоанатом, исследует современность. Но изменился подход. Если раньше был крик — гневный, ошеломительный, и человек «метался, истину ища», то теперь эмоции исчезли. Если раньше он описывал то, как он приходит к выводу («И тут я понял...»), то теперь предварительные объяснения опускаются. Даются только выводы. И, если предыдущая книга - «Обугленный веком» - пронизана нежностью и прощением, то в «Молитвах...» автор беспощаден, точнее — бесстрастен. Мудрость — она выше всяких чувств. Вопреки постулату «надо выразить время» автор вынес приговор Веку: «Не с тобой я, Веку, не с тобой», а вот человеку... Человек — сам себе вынес:

«Кончается двадцатый век — в крови, в моленьях и надеждах. Стереотипен человек и жалок в действиях и одеждах». «Поэзия? Куда такую? С ней больно сердцу и уму. Я ничего не публикую, не нужно это никому», — признается Сопин. Самая настойчивая тема: история повторяется, все идет по спирали, неважно — страна, отдельная личность. «С тех пор, как был распят Христос, С мечом шла милость на немилость. Как много крови пролилось, Чтоб ничего не изменилось».

Уже не однажды прослеживалась и вновь высветилась мысль о главной болезни века — о глупости: «Кто нынче враг, кто друг? Все шли к великой цели. И оказались вдруг У глупости в прицеле». От книги холодно. Анабиозная стужа, анестезия прозрения будет наградой тому, кто откроет эти страницы. Сопин устал разжевывать вечные истины, устал кричать их глухим. «Михаил Сопин забивает последний гвоздь в гроб российской дурости. Но вся беда в том, что дураки этого не замечают», — сказал критик С. Фаустов. Окружающий мир таков, что единственным каналом общения становится молитва. Энергия мысли и сердца, отправленная в космос. Потому что она не предполагает и даже не требует ответа.

## ПОПЫТКИ КОММЕНТИРОВАТЬ

Критик С. Фаустов сказал: «Стихи Сопина надо читать и слушать на морозе — с дрожью в голосе от холода и волнения. Это не сезонные стихи. Михаил Николаевич пишет их для чтения в Кремле, может быть, в Грановитой палате или в коридорах Госдумы. Потому что они обращены к власти, которая всегда лжива».

Болит мое сердце.  
Я знаю — живу на прицеле,  
Не верю и верю скептически и горячо.  
И точно не знаю —  
Стою у достигнутой цели?  
А если у бездны...  
Достаточно ветру в плечо.  
От муторной яви так тяжко,  
От памятной боли,  
От бляенья, лая, от рёва  
свободных гуртов...  
Есть воля от Бога,  
Табунную вижу я волю,  
В которую гнали и гонят  
Под высвист кнутов...

«У Миши сейчас период Герники (как у Пикассо), — сказала тогда Т. П. Сопина, — мы решили подбирать его сборник, и он стал хорошо выстраиваться, потому что все стихи одной тональности». Была когда-то и другая тональность — лирические стихи. Существует целая рукопись таких ранних стихов под условным названием «Жжёные листы». Они есть и сейчас, такая своеобразная лирика (периода Герники).

О разлуке не надо, родимая,  
Помни о встрече.  
О совместном,  
О нашем предельно коротком пути.  
И о страшной беде,

Что легла черной вьюгой на плечи,  
От которой уже  
Нам с тобой до конца не уйти.  
Думай, друг мой, о встрече,  
Ее беспокойном начале...  
Помнишь, шли мы с тобой  
Сквозь метельный невольничий свей?  
От меня ты тогда увезла  
Половину печали  
И оставила мне  
Половину надежды твоей.  
И остались мы вместе,  
Чтоб легче нести свои муки.  
Помнишь, я говорил,  
Что бессмертие — голоса звук  
Во Вселенной, в веках  
Сохраняются слов наших звуки...  
Наша встреча свершилась,  
А вечность  
Не знает разлук».

У Волковой всё выглядело красиво, солидно. А меня после таких «сопинских чтений» всегда корежило. Читка его стихов происходила в пустоту. Все молчали, как заговоренные, а я несла полную ерунду. Никакого приближения к тем пламенным, умным беседам, которые случались у него дома. И при этом я видела веселое лицо Сопина, который как бы говорил: «Вот видишь!». А я видела, что я себя ненавидела.

На первом обсуждении стихов Валеры Архипова в январе 1992 Сопин опять говорил исторические вещи, которые вошли в анналы: «В стихах до такой степени всё есть, что хочется кричать о том, чего нет... Если начинать работу с жесткого отношения к поэзии или, наоборот, относиться к ней беспринципно — это конец поэзии. Но здесь есть то, без чего поэзия немислима — есть поэт. Хочется ругаться или восторгаться, что не хватает школы, ремесла, но огонь, о котором я сказал — есть». Леднев: «Сопин прав, что материалу и жару очень много, костер трещит, но нет стройности...» Я: «После Сопина говорить — разжижение мысли». Сопин: «Разговор провисает. Пусть автор сам скажет —

чем мы можем ему помочь?»

У нас был Михаил Колосов, он не ходил на ЛИТО, лежал в больнице, нога не срасталась, я потом с него написала образ Берлогина в «Мелиссе». Мы иногда ходили к Мише в больницу, обсуждали то, что он, лежа, героически писал, опираясь на фанерку. Вот соображения Сопина: «Несмотря на замкнутость на себя, мне прочиталась неповторимая жизнь пишущего... Я бы сравнил это с работой маяка — ему всё равно, кто проплывает мимо. Тут герой Колосова Мишкин выполняет функциональную роль, он функционально необходим, он одинаков под дулом и под надеждой. Общество живет по законам трясины: на любом болоте есть кочки, и что бы ни происходило, кочки не поменяются местами. Такая и у него позиция.

Сам процесс описания функционален, он тоже выполняет для автора определенную роль, конечно, с налетом лирики или горечи за свою неустроенность. Но за всем этим ЗАДАННОСТЬ. Он сам себе задал. Самонадуваловка, что это такое? Это когда человек поддается общественной мистификации, когда свои успехи он мерит общественным мнением. Общество одобряет, значит, я делаю ТО. А Колосов молча подставляет горб, знает, что его п... нут»

Через Р. Рафалович к нам доходили из Харовска рассказы и стихи Елены Фурман. Михаил Николаевич по поводу Фурман сказал так: «Человек, у которого мозги не залиты бараньим салом. Человек с определенным уровнем культуры, ищущий между тем и этим светом, вообще ищущий свет. Все обречены на уход, но у нее поиск идет всё равно. Выполнение такой заявки требует всей жизни, всего человека. А у нее всё равно отсутствие боязни, поисковый оптимизм...»

Примерно в 1993 году Юрий Макарыч Леднев устроил нам очередной литературный ликбез по сонетам. До этого у Макарыча уже было три венка сонетов! Писали домашнее задание по сонетам Ю. Каранин, И. Рыбалко, сам Макарыч, Щекина. Ганичев, как самый образованный, сказал «лень», Гасин просто скривился. Сопин сказал: «Не буду, не хочу казаться смешней, чем я есть». — Я: «Это называется — гении презирают техническую работу! А как же Гумилев, у него студийцы всегда писали по заданию?» — Сопин: «И чем кончилось? Расстреляли!».

Что такое поэзия для нас? На ЛИТО этот вопрос каждый раз

вспыхивал с новой силой. Ганичев: «Для меня это 20-е годы». Я: «Для меня это вспышка чувства и совпадение с моей жизнью». Сопин: «Вот видишь, он знает, а ты, Г.А., не знаешь». Я: «Ладно, это общие слова, а что конкретно по поводу Валеры Архипова?» — «Я и говорю, Валера больше не мистификатор, у него такой прогресс, что можно сказать — это рождение Валеры». — «Да вы не читали стихи-то». — «Я слышал всё... Когда мы сдвинемся с места? Когда поймем, что такое поэзия. Когда у нас будет гарантия, что всё будет нормально? Когда мы не покусаем друг друга. Когда Ельцин и Хасбулатов не покусают друг друга».

Речь Сопина никогда не была завязана на один локальный вопрос. Всегда он за конкретикой видит общее, поэтому многим казалось, что он уносится в космос по поводу и без повода. Зато стоило его спросить, что он думает по поводу современного провинциального менталитета (был у нас такой стебный семинар в гостинной, каприз критика Фаустова), он подключался мгновенно.

Когда появился на ЛИТО Сергей Донец, Сопин сразу же его воспринял особо. Он сказал: «Это человек, который не прячется за толпой». Все заинтересовались стихами Донца, да тут еще слабость Донца поговорить, пофилософствовать, да его блестящий вид, да регалии полковника авиации... Привел его, кажется, Борис Гуляев, при содействии В. С. Старковой из 30 училища. У нас таких не было еще. Потом мы пошли с Донцом выступать в тюрьму, и оттуда, как с боевого крещения, я привезла Сергея Петровича прямо к Сопину. Эти люди тянулись друг к другу. И они потом сблизились, подружались.

Донец начал со стихов, у него вышла вскоре поэтическая книжка «Попурри трех звезд», потом он стал писать весьма сложную прозу, причем с крутыми философскими и социальными аналогиями, прозу часто ироничную и горькую. Споров по поводу его книги «Сновидения от Сильвестра» было много.

М. Сопин: «Когда я лежал в больнице (на кардиологии), мне принесли «Сильвестра». На смешных моментах я начал смеяться и вдруг обнаружил — плакать хочется. То есть это не сатира. Это — когда хлебало, раскрытое для смеха, кривится от плача. Причем переход не плавный, а рывком. Язык, которым написан «Сильвестр» — это язык нашего времени. В нем задвленность человека, желание быть понятым и невозможность помочь, в нем



всё давит, как давит время. Мы на нашей кухне можем друг другу хоть в чем-то помочь, подсказать, кастрюлю ногой подвинуть, пусть сиюминутно, пусть в мелочах, но из них жизнь состоит. Если сможем быть друг к другу чутче, терпимее — при жизни, значит, не засорили, не замусорили существование еще больше.

Донец из всех пишущих как никто повернулся лицом к нашему времени. Причем не вообще ко времени, к человеку, а к основной его проблеме. Она в том, что мы никак не можем, не успеваем осмыслить, что с нами происходит. Один смотрит на пять веков назад, другой на два века вперед, а вокруг — никто не способен. Вот Донец это и делает: пытается понять процесс, находясь внутри процесса именно в тот момент, когда процесс идет.

Я предложил Донцу на грани упрека писать короткие рассказы, но он создал большое одно под общей крышей. Мне нравится его отношение к тому, что он делает, к человеку. Он, как любой из нас, завязан на собственные проблемы, пишет, продираясь сквозь них.

Один — условность, один никто быть не может. Герой у него не один Сильвестр, еще Калигула. Калигула вообще бессмертный. Он продукт Среды, в которой мы живем. И до сих пор не определили, что есть правда, а что ложь, до сих пор варим компот в ночной вазе. И еще лет тысячу не определим. Вот в таком вареве и живет Калигула. Он, как Тарас Бульба, тоже готов убить то, что породил, в том числе и сына-придурка Кондрата. Но, в отличие от Бульбы, он не так кровожаден. И потому жалок, почти смешон. Как и все, кто не понимает, что мы делаем, как и зачем. И эта Среда породила соответственную литературу, состоящую из стоящих друг друга писателей и читателей... Сильвестр, как сумасшедший, тоже заключает в себе проблему «человек и общество». Он подтверждает старую догадку о том, что всё разумное всегда заключалось в психушку. То ли общество не понимает и не хочет понять себя самое, то ли час дембеля по-прежнему наступает только для одного отдельного человека».

Мне всегда хотелось поумнеть в глазах Сопина, я старалась собрать воедино разрозненные мысли и чувства литовцев, и, если бывало неудачное заседание, я терзала его вопросами, хотела, чтоб он помог. А если всё шло хорошо, обсуждали дельные вещи, разговор развивался конструктивно, или — если

получался шок, взрывались смехом или спором — я так ждала одобрения. Ничего не получалось.

На ГПЗ, например, ходило по 5—7 человек, часто одолевала скука. В гостиной, где у меня был совсем иной статус, где нас никто не гнал из помещения, я сама закрывала гостиную на сигнализацию, где заседания стали разнообразнее — то сольные обсуждения, то солянки, то презентации, да и народу приходило до 40 человек — Сопин практически уже отвернулся от «Ступеней». Он часто стал приходиться просто так, не читая рукописи, насмехался.

Однажды по весне 1996 года было трудное заседание, много «посторонних» людей, я даже перевела всех в читальный зал. Сопин пришел с оттопыренным карманом, а потом еще пошел в подвал «зарядиться». Это в майские праздники случилось. Он услышал, что я говорю про новый писательский союз, и сказал: «Пиши, Галя. Создать союз по принятию в союз. Принять всех, кто тут сидит. Потом тех, кто сидит там. Потом посадить тех, кого нельзя принять. Поняла?» Все засмеялись, начался кавардак. Родился очередной сопинский анекдот! Сидел он так, разговаривал в голос, отвлекал всех, а Лена Волкова его поддерживала. Оля Кузнецова тоже пришла поздно и присоединилась. В самом деле, он измывался. Я становилась посмешищем. Много лет спустя Донец скажет в присутствии официальных лиц, что «Щекина затыкала рот Сопину». И они поверят...

Хорошо, что Вера Леонидовна в тот раз отвлекла его и тактично доставила домой. Она вообще мне помогала и в ЛИТО играла сильную миротворческую роль. Она Сопина вытасила не только на свежий воздух, но и на исследование в поликлинику и помогла ему избавиться от язвы желудка, которая мучила его много лет. Когда Татьяна Петровна с переломом ноги попала в больницу, Вера ходила за ней ухаживать. Говорят, даже систематизировала сопинские архивы... Жаль, что бросила на ЛИТО ходить, тексты у нее были интересные.

Люди от меня приходили к Сопину и оставалась у него, и это были настоящие люди, которых я теряла. Мне-то как обидно было. Он отказывался понимать меня как раньше, он не хотел читать моих новых поэтов, отмахивался от гостей. Хотела

представить ему московских ребят из литинститута, в том числе Александра Закуренко, Алексея Кубрика, Марию Васильеву, Ганну Палагугу — он сказал: «Мне это не надо». Встретившись с ними у меня дома, резко вышел из комнаты и всё.

Что-то отрицательное проронил по поводу череповецкой обложки, конкретно А. Широглазова. Не пошел на встречу с Валентиной Боровицкой, с журналом «Арион», когда приезжали Татьяна Бек и Евгений Рейн... Список тех, кто Сопину не интересен, можно продолжить, их большинство. Ему не хотелось вникать в новое. Я этого тоже не понимала. Поняла позже. Это была неимоверная усталость.

Отчуждение было связано еще и с рукописью Глеба Сопина. Не знаю, зачем я только над ней работать согласилась, но рукопись Глеба была огромная, состояла из картинок, из сотен файлов. Сопина принесла нам это в беспорядочном виде, после нескольких человек, которые за пять лет потихоньку всё перемешали и запутали. Три года ушло на распутывание. Компьютер наш оказался забит, ресурс памяти исчерпан, а тут такой мастодонт. Пропадали материалы — например, моя недописанная пьеса, рукопись вот этой самой книжки, но ее я могу восстановить, а пьесу уже не могу.

Понадобился сканер, которого у нас тогда не было. Кроме того, Сопиной не нравилось работать со мной, она находила общий язык только с Сергеем Михалычем, и он оказался в положении человека, у которого даже согласия не спрашивали. Михалыч ходил в институт и просился на чужих кафедрах, в том числе у Янковского, поработать на сканере. Я тоже пыталась что-то сканировать в «Чайке». Потом Михалычу надоели эти мытарства, и он занял денег, купил сканер. Сопина, конечно, давала деньги и бумагу, но мы не могли ей рассказывать все подробности, и сколько лет жизни унесла у нас Глебочкина книга. А всё мое упрямство и желание доказать свою состоятельность (мне не доверили издавать книгу сопинских стихов, о рукописи вообще велели забыть).

Вся эта история серьезно мотала нам нервы, наверно, она-то и положила конец моей с Сопиным дружбе. Потребность говорить с ним была такая сильная, что я забывалась и чуть что — хваталась за телефон. Но там сидела Татьяна Петровна и тихим

голосом спрашивала, как дела. А дела были — ужас. Несколько раз чуть не погибло всё-всё. В черновике объем был около 600 страниц. Неприглядная правда заключалась том, что этого вообще ничего не нужно было делать, книгу уже можно было сразу нести в типографию, поскольку рисунки были выполнены тушью, с них можно было сразу делать пленки, а то, что мы переводили в электронный вид, просто давало возможность поиграть масштабами. То, чем мы так упорно занимались, был вообще мартышкин труд. Какова судьба этих промежуточных демонстрационных экземпляров, не знаю. Даже когда для меня всё это кончилось, у меня уже образовался стойкий рефлекс. Но мое отношение к Сопину осталось прежним. Иначе бы эти строки не появились. Поэтому я боялась им звонить. История с книгой получила продолжение. Потому что эта книга в дальнейшем опять «упала» на меня, когда за издание взялась московская писательница и издатель Эвелина Ракитская, которую я отыскала в Интернете. И опять пошло это сканирование, так как многие рисунки ей не подошли по качеству. Но я же не могла терпеть муки бедной матери, которая потратила на пробивание издания сына почти пятнадцать лет.

История этой книги не менее роковая, чем судьба ее автора. Но знать ее полезно.

19-летний мальчик погиб, служа в армии. Оставил оригинальное рукописное наследие, а собрала и подготовила его к печати мама, Татьяна Петровна Сопина: «То, что я должна сделать книгу Глеба, я поняла сразу, когда узнала о гибели сына... Собирала в одно место фотографии, рисунки... В такие минуты он становился для меня живым, я разговаривала с ним...»

Решимости ей было не занимать, но дальше начались хождения по мукам. Ее отфутболивали отовсюду. Делали сочувственное лицо, но дальше обещаний дело не шло. Десять лет мыкалась Сопина по инстанциям. Теперь, пожалуй, никто не вспомнит, сколько дней, месяцев, лет ждала несчастная мать каждого ответа у каждой двери. Об этом, собственно, и написана отдельная книга Т. Сопиной «Приключения рукописи в эпоху разлома». Не помогли обращения к директору института усовершенствования учителей В. Судакову, директору ВПЗ и депутату А. Эльперину, поездки в Пермь и Москву. Да что

говорить о какой-то книге, если даже памятник погибшему Глебу Сопину убитые горем родители оплатили дважды, поскольку в одной ритуальной фирме процветало воровство. А они не должны были этого делать, это должен был делать военкомат...

Но история с изданием книги Глеба приобрела новый смысл после приезда в Вологду московской издательницы Эвелины Ракитской (издательская группа ЭРА). Она приехала на встречу с литартелью «Ступени» как поэт, но знала и о том, что многие заинтересованы в издании своих книг. А упрямство и воля матери, собранные ею деньги в соединении с настоящим профессионализмом, наконец дали результат. Потрясающий! Немудрено — недавно издательская группа «ЭРА» награждена дипломом Ассоциации книгоиздателей за открытие новых имен.

Эвелина Борисовна Ракитская сделала то, что в течение стольких лет не могла сделать ни одна типография Вологды. Она взялась поправить макет книги и изготовить тираж.

Это великолепное подарочное издание сияюще-желтого цвета и большого альбомного формата, в нем более 400 страниц.

«Четвертое измерение» — роман-комикс, он рассказывает о приключениях сказочных триунесов, об их акциях, поражениях и победах. Рассказ в картинках и в озорном юмористическом тоне. Эти игры в триунэсов Глеб придумал сам, когда учился в школе, и быстро заразил игрой десятки и сотни вологодских школьников. Фотографии играющих ребят есть в конце книги. То есть в основе лежит вымысел, но вымысел, ставший реальностью! Книга дополнена письмами Глеба из армии, поэтому мы можем видеть не только Глеба-мальчишку, но и Глеба взрослого, влюбленного. Романтика, поглощенного книгами, музыкой и жадной творчеством.

Она понятна и детям, и взрослым, ее радужные увлекательные страницы можно рассматривать без конца. Она может стать и учебником жизни, и развлечением. Ее можно подарить или оставить себе, чтобы вспоминать волшебное детство и согреться у его костра. Загляните в магазины «Отрада» и «Слово». Глеб Сопин может стать вашим другом.

Когда вышла книга о Сопине Веры Белавиной «Нет, жизнь

моя не горький дым», я устроила в Городском дворце культуры большое обсуждение. Ни Вера Леонидовна, ни Татьяна Петровна на него не пришли. Материалы обсуждения я все сохранила. Это был сильный шаг к Сопину. То, что об этой книге позже никто не упоминал, показалось мне несправедливым. Для меня это было событие: первая книга о нем.

Мы вместе с Сопиной ходили в школы и техникумы, чтобы рассказывать о Сопине. Потом даже книгу сделали, сборник «Михаил Сопин крупным планом». Восхищение Сопиным, вера в его талант, возможно, задержали мое собственное развитие. Но я об этом не жалею. Человек не может и не должен жить в изоляции, тем более человек творящий. Ему тяжело работать без среды, а как ее узнаешь, не понимая отдельных авторов? Надо их достаточно четко знать, чтобы реагировать на то, что они создают. Ты поможешь им, они — тебе.

У меня Тайганова хотела взять интервью про Сопина и записать его на магнитофон. Я не знаю, почему она так настаивала, Сопин ей не был так близок, как мне. Лучше бы она с ним говорила сама, без посредников. Но я ответила на ее вопросы, среди которых был такой: «Как Сопин повлиял на тебя больше — как на человека или как на художника?» Повлиял, конечно, больше как на художника. Первое — заставлял думать, искать главное. Второе — воспитывал чутье к золотым строчкам. Будил жажду творческой свободы, но в то же время не давал этой свободе воли, потому что при каждом удобном случае унижал меня. И я не могла за себя постоять, я молчала. Ведь он — великий поэт, это было очевидно, бесспорно. Но определенное сопротивление внутри меня возникло и в дальнейшем помогало мне выстоять и писать.

**«НЕТ, ЖИЗНЬ МОЯ НЕ ГОРЬКИЙ ДЫМ»**

**Обсуждение книги Веры Белавиной  
«Нет, жизнь моя не горький дым»  
о М.Сопине на заседании ЛитАРТели  
«Ступени» 8 сентября 2001 в ГДК.**

**Валерий Архипов:**

Книга начинается с названия, а название неудачно. На первый взгляд эффектно, но не запоминается (Толстая назвала «Кысь», это запоминается). Одно из достоинств: в книге хороший литературный язык, написано грамотно, хорошо. Но этого мало. Читатель вынужден определять, какой это жанр, это непонятно. Начинается как её автобиография, потом дневник, потом местами литературное исследование... Нет никакой четкости, поэтому и судить сложно. Я выбрал определяющий жанр — документальная повесть-исследование.

Один из минусов — книга слишком политизирована. Реплика Сопина наводит автора на размышления, они слишком спорные, ответить нет возможности, а сам тон автора категоричный, даже не просвечивает нигде другой точки зрения, всё слишком... однолинейно. Герой-поэт нарисован очень субъективно. Это домашний, кухонный, кастрированный Сопин, гений в тапках, лично я его знал другим. Его появления на ЛИТО были непредсказуемы, он заставлял думать. А здесь какой-то старый ворчун, это всё снижает восприятие Сопина. Есть великолепные куски о его работе, о столе, машинке, о бумагах на полу. Но нет анализа стихов. Он читает стихи, Вера ахает, и всё хорошо. И ничего не может сказать. Ну, где сам процесс? Не процесс, а готовый продукт. Подбор стихов тенденциозен, спорен, сам Сопин шире этих представлений о нем. Да и она симпатий не вызывает. Хотя не отрицаю, труд совершен большой. Она не открыла, но ПРИоткрыла нам Сопина. И это прилично.

Минусы есть в виде панибратства, всяких там Т.П. — Татьяна, Серега... полковник в отставке, все эти курицы жареные... Я три раза был у него дома, но он принимал меня в комнате, и меня это устраивает. Никакой еды. А то всё забытовизировано. Короче, у меня двойственное чувство. Очень много спорного.

**Руфь Рафалович:**

Я объективно говорить не могу, три раза прочла как корректор. Также просила разобраться с именами (с Еленами разобраться), и кое-что было сделано. Но есть люди, которые не хотят светиться. Я взялась это делать, и я горжусь этой книгой, и всем нам можно гордиться, это написано членом ЛИТО о члене ЛИТО. О названии. Меня «Кысь» отталкивает. Это название соответствует содержанию. То, что жанр документальный, не значит, что должны быть строгие соответствия правилам жанров. Да, человек показывает жизнь через себя, субъективно это, но объективно пусть решают литературоведы через много лет, здесь важно живое свидетельство о живом человеке, писателе. У такой книги цель — возбудить интерес к данному писателю, эта цель достигнута. Да, нет анализа, но книга же для широкого круга. Политизация. Это принято считать грехом, но вы вспомните, в какое время это происходит. И вина перед отцом толкала автора написать эту книгу. Это же раскаяние. Как судить такое, зачем. Обсудить действительно надо. Не знаю насчет кастрированного героя, лично я его узнавала в описании. И я рада, что книга вышла.

**Елена Волкова (автор радиопередач о Сопине):**

Два раза прочла книгу, не будучи корректором. У меня все книги делаются на те, которые я не дочитываю, то есть, которые прочтала и забыла, и те, которые оставили ощущение. Вот эта оставила ощущение. Даже далекий от литературы муж, относивший куртку великому поэту, прочитал эту книжку. Достойный труд мемуариста. Сопину очень повезло, что он нашел свою Веру.

Я желаю всем нам найти либо своего Сопина, либо свою Веру. А что шокировало? Вот то, где «Сопин идиот, психопат, алкоголик». Но он не возражал на это. Думаю, что, в конечном счете, мемуары вытеснят всё!

**Галина Макарова**

Обычно смотрю книгу с конца, с середины, а эта книга хороша с любого места. Очень живое изложение. Большинство думающих людей ведут дневники, так что пусть длинно, но содержательно. К Сопину отношение двойственное, сложное, я не поклонник его поэзии, но отдаю должное тому, как он себя сделал при помощи Татьяны Петровны. Он стал поэтом. Эта книга — горькое лекарство. С Белавиной у них много общего, а то, что она написала пристрастно, как раз ценно, потому интересно. Отзываются два опыта сразу. Через несколько лет Макарова скажет о комментариях по поводу Сопина: создается новая мифология Сопина.

**Анатолий Дорин:**

Очень интересный личностный взгляд, хотя через 10–20 лет, может, он изменится. Тут есть и начало анализа (пусть не поэзии, но личного опыта). Каждое свидетельство о нем исторически ценно.

Сопин еще не так политизирован, как некоторые. Наоборот, его размышления уводят от политики в другие сферы, а 90-е годы были такими острыми.

**Ната Сучкова:**

Не могу быть объективной, имела отношение к созданию книги, верстала её. Хорошо отношусь к автору, уважаю её. Когда верстала, видела строчку, шла за ней дальше, спохватывалась. То есть повествование привлекало. Потом услышала отрывки в исполнении областного радио (читка вслух Елены Волковой в Ситинском доме творчества). Не могу сказать, что Сопин для меня такая интересная личность, как для автора, просто передо мной было знание автора. Опыт мемуаров имеет большую историю, и в каждом отдельном случае нас влечет либо личность автора (кто описывает), либо личность главного героя (кого описывают). Я читала «Повесть о Сонечке» Цветаевой, где абсолютно неизвестная, никто, становилась значительной благодаря яркому описанию. Щеглов о Раневской — из-за самой Раневской. Мария Рива о матери, Марлен Дитрих, — тоже из-за

героини. В этом случае герой меня не привлекал, наоборот, читала из-за автора. Меня ждало разочарование. Мне было стыдно, как она унизила его. Ведь получилось, что он чужими руками всё сделал. Не будь Веры и Татьяши, что с ним стало бы? Главные героини — они. И Белавина мне более интересна, чем Сопин. И меня коробит возвеличивание Верой её героя. Меня кололи многие фразы, которые, я считаю, оскорбляют его (она его поднимает, он падает). Но всегда помню — он видел, одобрил это. Всё-таки это большое событие: не 100, а 1000 экземпляров!

**Ольга Кузнецова:**

Читала не всё. Думаю, если не самые глупые четыре женщины читали это целые сутки в Ситинском доме творчества (на даче под Харовском) да еще спорили несколько часов, так тут явно что-то есть. Книгу считаю личной акцией Веры Белавиной, человека с обостренным чувством помощи. Она действительно сделала вещь. О качестве: книга вылежится, и Вера сама увидит её иначе.

**Сергей Фаустов:**

Стихи Сопина — это забивание последнего гвоздя в гроб российской дурости, но вся беда в том, что сами дураки этого не замечают. Книга Белавиной делает это более заметным, как и Сопинское творчество, но это опять-таки не для дураков. А почему? Потому что, следуя этой книге, её терминам, понимаешь, что Сопин — жертва Гулага, Белавина — жертва Гулага, я, Фаустов, — тоже, о господи... Осмелюсь предположить, что вся страна Россия до сих пор всё еще жертва. И разве пионерский лагерь не слепок, не реликт сталинизма (пионерлагерь как генератор бомжатников)? Эта книга — прежде всего — исследование *посткоммунизма*, поэтому её надо прочитывать в историческом контексте, и исследователи именно этой темы всегда в чем-то жертвы, хотя и остаются победителями. Эта книга о том, что свобода обманчива, потому что привлекательна, а жизнь — ежеминутное проявление воли против сладкого обмана. Если книга кажется эпатажной, то оттого, что она честная, без лакировки, а это всегда проявление воли. Вера Белавина

совершила самоотверженный поступок, подвиг, записывая интеллектуальное бытие поэта за пятилетний период. Самоотверженность в том, что поставленная задача — изложить жизнь человека на бумаге — выполнена честно, даже в ущерб себе. Самопожертвование сделало книгу убедительной, поэтому её читаешь, не отрываясь. Потому что, по сути, книгу написал Сопин. Он её надиктовал, позволяя автору вести игру (писательство — литературная игра) без правил (реплика: «Это чушь!»). Живой Сопин позволил писать без правил (он книгу не правил) не от лени, а от воли. Мне кажется, они оба не верили, что может что-то получиться, не знали, во что это выльется. И для них самих, да и для всех это неожиданно, как собственная жизнь, которая начинается неожиданно и воплощается не в то, что планируешь по всем нормам и правилам. Подобные книги в русской литературе есть. Из недавних — воспоминания Ирины Сиротинской о В. Шаламове, но то были мемуары, а значит, написаны по правилам. Или Г. Щекина о Михаиле Жаравине, тоже мемуары, но документальные. А из давних, например, воспоминания Анны Достоевской о муже, не помню, как они назывались по-русски, а по-польски — «Мой бедный Федя».

О Сопине мемуаров не будет, есть что-то более ценное, чем мемуары. Может, единственно верный источник — тексты самого Сопина. Я получил несколько уроков от этой книги, и один из них: надо писать друг о друге, пока мы еще живы. Потом, после смерти, — будет нечестно.

### Галина Щекина

#### Нет, жизнь ЕЁ не горький дым!

Так хочется перефразировать заголовок. Книга Белавиной «Нет, жизнь моя не горький дым» меня шокировала. Первое — тем, что механизм оболванивания советских людей проиллюстрирован нашим литобъединением. Дескать, настолько люди привыкли мыслить шаблонно, что и пишущие люди не миновали того же. У старосты — авторитарный стиль руководства и полная глупость в придачу. Я понимаю, что работать надо не ради похвал, и никто не просил меня этим заниматься, как любит повторять Р. Рафалович. Но цель, даже не моя, а общая цель литартели — не насаждение идей сверху и не авторитет в ЛИТО поэта Сопина или прозаика Щекиной, а создание благоприятной литературной среды, в которой можно творить и общаться разным талантам, а не насаждать одно для всех.

То есть у меня по жизни было впечатление, что ЛИТО эту работу выполняет и, когда Белавина ходила на ЛИТО, ей это помогало, да и она гармонизировала среду, вносила туда мягкость, нежность, понимание... На этом же ЛИТО она встретила Сопина и Донца, с которыми так подружилась. И ушла в норку любить их. А работать на социум должна глупая староста. А когда я прочла её дневники, увидела, что ЛИТО для неё отвратительно, ну что ж, есть люди, не способные жить в социуме, это их личное дело.

Книга меня обожгла. Обида жжет меня потому, что сама я не смогла написать. Но это — моя личная авторская драма. Потому что люди сказали — это ужасно, это убьет Сопина. Потому что взгляд Белавиной возносит Сопина, и это правильно, он это заслужил, а мой взгляд сводится к тому, что человек, высокий в одном, может быть низок в другом. В человеке же всё перемешано. И поэтому книга, канонизирующая Сопина, рождает во мне протест. Хотя я люблю Сопина — я против того, чтобы канонизировать кого бы то ни было, Шаламова или Орлова, Рубцова или Сопина.

Честность! О ней всё же надо вспоминать, захлебываясь от любви. Честность у Веры Белавиной моментами — когда действительно герой книги обижает её, причем незаслуженно. Тут она получает удар под дых и начинает думать — почему. Потому, что герой не идеален. Мне стыдно, потому что я в свое время тоже навязывала всем Сопина, думала, я одна такая умная, а другие его не понимают. А, читая книгу, поняла, что этот человек в чем-то несчастен, он не смог выйти из своей темы, тема его за собой потащила, а он же сам учил нас управлять текстом, а не так, чтобы текст - нами.

Но то, что Вера довела свой замысел до конца — это прекрасно. Никто не отказывает ей в свободе воззрений.

Книга Белавиной заставила меня задуматься. Самое ценное в книге Веры - не главный герой, предмет её восхищения, а она сама. Она описывала свой рабочий процесс, со всеми его взлетами и провалами. Она делала себя одновременно с книгой. Сделала. Назидание и пример тем, кто дергает себя за волосы из трясины. Сильный человек Белавина, мужественный, искренний. Но поскольку предыдущая её жизнь очерчена бегло, а с Сопиным подробно, то выходит, что жизнь её была не зря, потому что вот он, появился путь к Сопину (путь к Ленину). Вот кульминация всей жизни.

О стилевых ошибках. «Он подо мной, АД в норме». Это уже виртуальная измена. «За эти строки поцеловала бы каждый палец ноги». Повод для пародии. Таких строк много в книге. Поэтому я бы назвала эту книгу «Эуфиллин и любовь». Но, как говорит уважаемый мной поэт Архипов, не надо вырывать строки из контекста. В целом же это явление очень и очень значительное.

## **«ПОКА ЖИВЕШЬ, ДУША, ЛЮБИ!...». ПОЛЮСА О книге Татьяны и Михаила Сопиных «Пока живешь, душа, люби!...»**

### **1. Полярность как диалог — двоичная основа книги.**

Эту книгу, вышедшую в Чикаго, «Пока живешь, душа, люби!...» написали два незаурядных человека. Поэт и прозаик. Муж и жена. Солист и аккомпаниатор? Это получилась сложная полифония, в которой то одна мелодия явственней, то другая. И переплетение их создает новый мелодический рисунок. Хочу не согласиться с уважаемой Галиной Макаровой, что Т. Сопина здесь всего лишь аккомпаниатор. Уму непостижимо. ОНА создала не только книгу, но самого Сопина. Как же можно говорить о ней как о втором голосе. ОНА — основной автор книги «Пока живешь, душа, люби!...»! Или, по крайней мере, равноправный партнер.

Эта книга появилась на основе текста Сопиной «Вызов судьбе» — я прочла и номинировала ее на <http://www.proza.ru:8004/texts/2004/04/24-29.html>, как очень сильную вещь, и поскольку тогда писала об этом довольно подробно, сейчас только отсылаю к ней читателей «Пока живешь, душа, люби!...». Смотрите на Прозе.ру: <http://www.proza.ru/texts/2004/05/02-20.html> (Галина Щекина. Разлом не значит слом)

Цитирую отрывок.

«Документальная проза по отношению к художественной обычно в тени. Начинающих литераторов учат — для художественной прозы нужны реальные события плюс авторское лицо. Первооснова плюс отношение. А в документальной прозе, дескать, только хроника событий. Но текст Сопиной на Прозе.ру опровергает этот постулат. Здесь есть и реальность, и авторское лицо. Величина души автора. Реальность страшнее некуда, лицо и душа благородны. Никакой агрессии, никакой мести за причиненное зло. Здесь тот случай, когда документалистика смыкается с художественностью. Есть, правда, некое противоречие между содержанием «Рукописи...» и ее заголовком: заголовок намекает на беллетристику и легковесность, тогда как содержанием является трагедия. Но и в этом сказалась позиция автора: мудрость, простота, прощение.

А какой разлом имеется в виду? Разлом государства, который обвалом повлек за собой разлом сердец, отношений, уклада жизни. Только представить себе: молдаване дарят вино, а друг сына бросает как бы про себя: враги... Всё с ног на голову. Врагов в этой повести много. Не только политических, но и личных... И когда получен «Груз-200» — мертвый сын — и собраны его рисунки, начинается, собственно, история рукописи, история ее неиздания. Сына узнаешь заново. Да и мир поворачивается непривычными сторонами.

Врагом для опечаленной матери становится сама страна и слуга этой страны — армия. Даже памятник мальчику оплатить не смогли, вынудили родителей Сопиных, потому что бумаги долго ходили по инстанциям с 1991 по 1992, и деньги, выделенные воинской частью, обесценились. А мрамор-то украли в похоронной фирме. Платили дважды. Но она растерянно говорит: не в деньгах дело, в отношении. Господи, да почему? И в деньгах тоже... Ведь компенсацию за убитого ребенка родители отдали чужим людям на их первый сборник... То есть отдали мне...

Один за другим отворачивались от матери, которая просила помощи — военкомат, отдел социальной помощи, фирма «Лебедев», директор Александр Эльперин, предприниматель Евгений Носков, эколог Юрий Базанов, издатели Ирина Колущинская, Владимир Пирожков, Виталий Кальпиди, Деринг, консультант Натан Злотников, директор Валерий Судаков... Конечно, самые страшные враги — бывшие друзья. Это давно доказано. Но Сопина ничего никому не доказывает. Она просто перечисляет, чаще даже безучастно, разные здания, кабинеты, отказы, а ведь на каждого человека тратились недели и месяцы — убитый сын, убитые деньги, убитое время. Убитые надежды.

История всё же убитых надежд не стала концом этой истории. Непонятно как, на чем, на каких внутренних резервах жила под спудом и вышла всё-таки эта книга. Тут самое бы время встать в полный рост и пропеть гимн русской матери за ее терпение и героизм, но... не надо гимнов. Надо просто открыть и прочитать. Получив при этом такой ожог, который вряд ли

забудется. Ведь любой читатель не захочет стать в одну колонну с предателями, не так ли?

Книга «Вызов судьбе» написана простым и обыденным языком. В ней всё прозрачно и объяснимо, в ней нет догадок, недосказанности. Это язык культурного человека, интеллигента и мыслителя. Татьяна Сопина написала свою историю России здесь. Поэтому документальная история в данном случае дороже, чем художественная.

Человек не сломался на дыбе чиновничьей власти, скажете вы, всё кончилось хорошо. Но почему такой ценой? Если читать внимательно, то нетрудно увидеть, что только частная инициатива спасала дело, а где же государственная власть? Где она, когда человеку плохо? Ведь именно власть загубила сына Сопиной и не позволила даже создать в то время памятник, не мраморный, а творческий - книгу, отпечаток души, необычную книгу, состоящую из тысяч смешинок, иначе говоря, роман-комикс.

Это не русский жанр? А что у нас русское? То, что описано в самом начале?! Русский фонд культуры отнекивался от помощи Сопиной, как от подобных же многих сотен просителей, и погиб в пожаре. Не есть ли это вмешательство высших сил?

Но книга сына Сопиной Глеба Сопина «Четвертое измерение» всё-таки вышла и теперь существует.

«Приключения рукописи в эпоху разлома», как история неиздания, стала прологом к этой сегодняшней книге — «Пока живешь, душа, люби...»

Я говорила и теперь повторю — мне было очень жаль, что повесть про сына, вернее повесть о судьбе его посмертной книги, о которой шла речь в «Приключениях рукописи в эпоху разлома», отделена от повести про мужа («Журавушка», «Желтые тетради»). Автор Татьяна Сопина разделила наследие Глеба и наследие Михаила. Но в жизни всё это было переплетено. Была общая атмосфера. В сущности, это же единое, неразрывное, это сильное любовное явление. Стихи Михаила Сопина можно читать на Стихи.ру, на авторской странице поэта М. Сопина. А вот книгу сына Сопина хотелось оставить прежде всего на бумаге, в сети ее нет. Татьяна Сопина придала стихам Сопина невероятную глубину, сопроводив их описанием исторического фона. Герой



всех её эссе, поэт Михаил Сопин, — человек, в высоком смысле непонятый, пророк, не услышанный страной. И упрямо стоящий на своем. Автор написала об этом просто до жути и без лишней позы... В прозе Сопиной, пишущей о великих понятиях, совсем нет пафоса.

В стихах Сопина, наоборот, сплошной пафос. Он пишет на таких высоких тонах, которые иногда не под силу читателю. Но если в поэтической речи это читается как горечь и гордость, как поэтическая гиперболизация, то на фоне бытовой истории его жизни это уже не выглядит преувеличением. Потому что те новые факты о жизни Сопина, о которых он не мог или не хотел говорить мне в личной беседе, — например, история со сжиганием писем, история самоубийства — перевернули многие мои представления об этом человеке. Все мы загнаны, но так, как время загоняло его — вообще невозможно.

Убитых надежд было слишком много в жизни Сопина старшего. Их было столько, что нет смысла вспоминать тут, о них надо читать всё вместе в книге.. Противостояние государству — было... И цена заплачена немалая — жизнь ушла.

Читая новое «модное», всегда вспоминаю — а поэт Сопин что бы сказал? Это своего рода мерило, это планка, которую он задал мне. И когда свое пишу — тоже. Гражданская лирика исчезла. Молодым людям стала безразличной судьба родины. Почему?

Читай «Приключения рукописи...». Комментарии к стихам Сопина, которые стали содержанием поэтических эссе Сопиной, резко расширяют поле зрения при столкновении не просто с конкретными стихами, но и со стихами вообще. Подходы, ракурсы, увеличения и уменьшения — как при разглядывании картины. Всё становится ярче и рельефнее, всё оживает. Из слов рождается кино или, может быть, жизнь сама возвращается, течет вспять. Такова магия документального слова, когда оно сказано страстно и честно. Ее эссе и стали фундаментом всей книги, ее цементирующей составляющей.

## 2. Полярность как оксюморон поэтических понятий и двоичная основа книги.

...Лексика поэта тоже вся на полюсах и на противоположностях. Еще когда я писала в 90-х годах о творчестве Сопина в «Литературную Россию», то говорила о широком употреблении оксюморонов. Но это не только оксюмороны-слова, но и оксюмороны-понятия, более сложные образы, состоящие из одного и более слов. Это еще раз подтверждает, что литературный язык Сопина сверхконцентрированный, сверхлаконичный и очень емкий.

Условно я разбила бы поэтическое языковое поле Сопина на три части: отдельные слова, более сложные или составные понятия-образы и внезапность цвета в понятиях.

1) Слова, в которых двоичная основа: Светотьмища, Смердовластие, Артбуран, Вожделюбы, Беловоронье, Законое, Яровью синей, Узница-лира, Завей похоронный, Безлюбье, Безлюдье, Пустофразие...

2) Понятия-образы с двоичной, оксюморонной основой: В злом милосердье, Героизм бедствий, Иго свободы, Стреноженная воля, Улыбчиво плачу о чем-то, Декабрьская легла весна, Ирреальная явь, Кипит снегами полынья, Эпоха пряника-кнута, Злая месса, Невольник воли, Олигофрен идеи, Культура хамства, В свою тюремную свободу, в свою свободную тюрьму, Скоросменной политчепухи, Недобитое добро, Метельный невольничий свей, Засушливый потоп...

Эти символические слова-понятия — сильное выражение творческого стиля Сопина. Стиля, стоящего на полюсах, на противоположностях, на пропасти между ними.

Сами стихи — это бездна между мирной рекой, ребятишками солнечнотелыми — и садистскими дознаниями в подвале. И это внутри только одной темы детства.

Основное поэтическое пространство Сопина написано черно-белой палитрой.

Всё время не покидает ощущение, что смотришь жесткую хронику XX века, именно черно-белую. Но когда изредка вспыхивает цвет, он действует с удесятеренной силой: алый дождь в косичках ковыля, алый стыд и алый смех, алым грядущие годы... Вот опять — сочетание двух подходов.

Как верно заметил Сергей Козлов, и сама книга — полюса... Публицистика Т. Сопиной — бытовая вязь, ровное суровое полотно, а стихи М. Сопина — это сразу взлет поэтических образов — черно-красная графика, впечатанная в это суровое полотно.

В 2011 вышла в Вологде книга «Спелый дождь». Это было повторение книги «Пока живешь, душа, люби!..», хотя в чикагском издании обозначены два автора — Михаил Сопин и Татьяна Сопина, а в вологодском — один автор Михаил Сопин. Что, по сути, является неправдой, ведь книга дуэтная, и у нее два автора. Но издатели сделали так, как сделали. Книга как ознаменованье 80-летия со дня рождения поэта была солидным шагом к увековечению его имени. Я отдельно не писала о ней, потому что принципиальной новизны не видела. Именно чикагское издание меня ошеломило соединением прозы и поэзии под одной обложкой. Но для Татьяны Сопиной и вологодское издание было очень важно, так как книга финансировалась Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия. Это означало официальное признание автора. В здании филармонии прошел большой вечер памяти Сопина, его вели В. Бараков и А. Колосов. Почитатели таланта хотели видеть выпущенную к большой дате книгу, но ее только показали со сцены. Впрочем, это уже неважно. Книга — есть. Она доступна всем, кто еще ходит в библиотеки. Важно именно это.

## ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СОПИНА В 2011 году

### О подходе Сопиной

Одно время появились интересные размышления о Сопине из-под пера Татьяны Петровны. Ее подход весьма своеобразен, она, как исключительный систематизатор, всякий раз избирает инструментом триаду. Например, "Три правды о политруке", "Три памяти поэта"... Каждый раз вбивает в голову три гвоздя. Три основания - это довольно стойкая конструкция.

«Три правды о политруке» - это различные толкования смысла сопинского текста. Сопина пишет о трех - о своем и двух сопинских, но потом приводит отклик от Беляевой из Белгорода и получается снова ТРИ отзыва от трех человек. Кстати, в восприятии Беляевой мне дорого то, что состояние борьбы - войны у Сопина осталось навсегда, и что он не только без вести пропавший на войне политрук, но и без вести пропавший поэт. Представляете, ребенок, а глаголет истину. На мой взгляд, разделять исторического политрука и художественного политрука ни к чему, хотя реальный мальчик Сопин был отдельно. Но в поэтической ткани что политрук, что Сопин - нет различия, потому что оба они - великая жертва.

Нас история чаще всего принуждает смотреть на Сопина как на поэта войны. Подтверждение - монументальная книга "Шрамы на сердце", как и книга прошлых лет "Гордость и горечь". Но в философском смысле он, как автор, гораздо шире этой темы. Да и Сопина подтверждает - его в Перми упорно и даже принципиально не замечали. Была глухая блокада. Как будто в Вологде не так. Когда я его увидела на лито первый раз - он был в том же состоянии окруженца. И против этого хотелось бороться. Даже когда "Обугленные веком" вышли - это было опять двадцать пять. История книги повторяла историю жизни автора.

Но попытки семантического толкования гораздо интереснее в статье Сопиной "Из далей харьковские клены или Три памяти поэта Сопина" - память трагедии рода, память трагедии войны, память гражданская, тоже трагедия... Троичность подхода логически

выстроена, обоснована. И выходит, что они все неразрывны, все три памяти, одна перетекает в другую. И одна подтверждает другую, эту подспудно ужасающую мысль о вечном окружении. На войне, на войне... Все одинаково.

### О подходе Смолина

Выход книжки о Сопине важен и как попытка объяснить, и как попытка понять наследие поэта. Начало - повествование в очень свободной манере постепенного прочтения, прерываемого вопросами. Их становится все больше. Очень зримо показано непонимание и растерянность читателя. (Ну, это читателя, а перед нами же критик).

Сравнение поэтических стилей интересно, но Смолин не стили сравнивает, а предполагает, что Сопин цитирует Рубцова. Это бездоказательно и оскорбительно для Сопина. Рубцовский след ничего не проясняет, потому что этот след увидел не Сопин, а Смолин. Зачем что-то предполагать (о судьбе поэта) если есть текст? Это самое главное, что мы должны видеть. Автор книги к моменту ее создания как раз уже должен знать биографию Сопина, даже искать не надо, не то, что предполагать.

Задача критика не просто в прочтении, а в раскрытии основы - почему написано так, а не иначе. Смолин этого не знает. Его подход - просто перебирать стихи, и обозначать тему. Но сводить их, как-то обобщить он даже не пытается. Единственно, что я поняла у Смолина о сопинской книге "Предвестный свет" - это что 41-й год и "Когда ветер пластается" - это два основания книги, а почему - неясно.

Уважаемый автор останавливается на каждом шагу, на каждой строке. Вот он обнаруживает автономность лирического героя Сопина, но тут без цитат.

Смолин решает, что Сопин плохо и слепо писал о Родине, хуже Ножкина, Берггольц... Что книжка "Предвестный свет" вышла в момент десталинизации, когда из щелей повылезало всякое. А книжка "Смещение" - вообще неудачная. Вот только ни одного довода.

«Композиционная рыхловатость и тавтологичность образов»! Да эти черты могут возникать в любой книге любого автора. А Сопин не любой. А его "Смещение" - одна из лучших книг.

Смолин даже не пытается понять ни поэта, ни человека Сопина. Он его пристегивает (сравнивает) то к Рубцову, то к Есенину, то к Шаламову, то к Жигулину. Цитирует посторонние тексты, а Сопина в упор не видит, - просто обзывает и ставит печать. Где же, собственно, анализ стиха? Нет его. Об "Агонии триумфа" ни слова, только общие слова о народной совести. Разве этому учат на литературных курсах? Комментатор опирается не на тексты поэта, а на избитые пословицы. И ни одной своей мысли, все отзывы других о других. Это просто провал, а не книга. Несколько позже появилось очень дельное исследование текста «Агонии триумфа», написанное Ниной Писарчик.

### О подходе Беляевой

#### Родословная слез

Прежде чем сказать несколько слов о "Родословной слез" белгородских авторов Беляевых, я напомним уважаемой публике родословную самой темы. Был городской конкурс школьных сочинений к 65-летию ВОВ, и в рамках его Елена Разгонова, тогда ученица моей студии "Лист", написала работу "Ребёнок – воин". Обычное школьное сочинение, но если учесть ее юный возраст - очень важная работа. Она натолкнула на дальнейшие поиски других! Потом работа Татьяны и Петра Сопиных "Мальчик с Огненной дуги". И уже продолжение – "Родословная слез". Ну, во-первых, прекрасно, когда есть от чего отталкиваться, во-вторых, тема войны у нас будет востребована всегда. Особенность работы – ее привязка к месту и времени событий, которые отражены в стихах Сопина. Авторы не только нашли в стихах конкретные географические точки и лексику Белгородчины, но и установили нерасторжимую связь с поэзией вообще... Бережное отношение к истории, к историческим документам, пристальный анализ сопинского слова – все это убеждает читателя в серьезности этой удивительной работы.

Когда люди ищут потерянные смыслы у Сопина, то это сродни собиранию камней. Чтобы все разбросанное соединить и установить некую гармонию внутри себя хотя бы. Это благодарная работа, потому что в этом случае комментарии - единственный инструмент познания.

## ПРОЩАНИЕ СОПИНА

### Мотив прощания в стихах М. Сопина

В творчество Михаила Сопина для меня есть тайные тропки. Это не широкий путь понимания, а только тропки. Часто это рассказы Татьяны Петровны, иногда какие-то свои мысли. То есть туда нужно ходить с внутренним компасом, иначе написанные тексты не откроют своих глубинных тайн. Говорю и сама повторяю — «Глубинное» (где Сопин был на поселении). Так несколько раз в сознании всплывало «прощание». Это понятие встречается в стихах М. Сопина слишком часто. Нет ли тут какого-то ключа к пониманию Сопина? Оттого тема прощания показалась главной.

Татьяна Сопина пишет: «Подобно Марине Цветаевой, он любит жизнь прощанием. Он и в жизни всё время чувствовал себя на краю — от лирического

«Стою над обрывом.  
Улыбчиво плачу о чем-то...»

до трагического

«Здесь жаждал я воли!  
И вот от немислимой воли  
Как будто у края  
Разверстой завис полыньи»

Слово «прощай» — конечное понятие, оно подводит черту событиям и чувствам. Говорящий «прощай», уходит. Это разлука навсегда.

Есть и другой смысл слова — прощай от слова «прощение». Это — отпустить обиды, расстаться с невыносимым давящим грузом, чтобы идти дальше. Иногда прощание наступает оттого, что не получается простить. «Не прощай!» — это значит, не пропускай мимо того, чего НЕЛЬЗЯ простить. Естественно, я стала искать мотивы прощания прежде всего в любовной лирике, в его ранней поэзии. Каково же было мое удивление, когда первое же попавшееся мне упоминание прощания возникло в

странном стихотворении 2004 года.

За мертвым лесом  
В неживое поле  
Вернулись обожженные дожди.  
На памяти  
На пепле и на боли  
Я храм воздвиг  
И выдохнул  
«Входи!»  
И ты вошла — Погоны полевые  
Из рук простреленных  
Дала Устав. И душу сжав  
Готовую «навылет»,  
Перед тобой я на колени встал.  
Молчи! Молчи... Какие униженья...  
У нас всегда лихие времена  
Во мне, в моем больном воображенье  
Беда моя  
А не твоя вина!  
Твой прежний смысл  
Замыло лунным светом  
Прощай. Прощай. Прости... Прости... Прости...  
Между тобой в былом  
И мною этим  
Мосточков опаленных  
Не свести  
(Апрель, 2004).

В погонах, с пробитыми руками, держащими устав — и женщина, и страна. Поэт с ней внутренне прощается навеки, мосточки опаленные рухнули. Он прощается не буквально, потому что из самой страны уйти не может, но это прощание растет из чувства протеста, неприятия того, что случилось...

«Не надо прошлого», —  
ты как-то мне сказала.  
Зачем же так? Зачем сказала мне?  
Всё пропахал  
И вот я у вокзала,  
Ни настоящего, ни будущего нет.

Я сяду в поезд и махну рукою.  
За окнами забвеньё поплывет.  
Прощай, зима. Но навсегда со мною  
Моя любовь — нетленное мое.  
И если вновь сквозь версты бездорожий  
Разверстнется ненастий окаем  
Мне заслонит судьбы косую рожу  
Лицо святое, светлое твое  
(22 марта, 1969)

«Прощай, зима!» — здесь не к зиме обращение, а к другому холоду, стуже общения, против которой любовь выступила. И с ней ничего не страшно. ПРОЩАЙ и ЛЮБОВЬ — ключевые слова.

\*\*\*

Крестили — тебя не спросили  
Раб божий, земной человек  
Идет «пробуждение России»  
Двадцатый кончается век  
И длится, всё длится и длится  
В веках затянувшийся сон  
Во сне перекошены лица  
Идейно озлобленных зон  
Страна, сочиненное чудо  
Прощай, суеверья игра  
Пора уходить ниоткуда  
К себе возвращаться пора.  
Мечтанье — продленье обмана  
Кукушка в декабрьском лесу  
Мосток из огня и тумана  
Качающийся на весу.

А здесь — явно прощание со своими идеалами, прощание с мечтой. Позднее он скажет: «Я пишу не стихи, а молитвы от имени ушедших и уходящих». Он уже и сам не молод — за шестьдесят, болен, пережил инфаркт...

У него есть несколько форм прощания — и напрямую и косвенно. Порой и самого слова «прощай» нет в тексте, а мотив прощания совершенно явственный — (я, хрипя, кричу тебе: «Прости!», но с каждым годом тише, тише, тише).

Стоишь ты,  
Руки на груди скрестив  
А ветер  
Тихо волосы колыхет.  
Я помню всё  
Хочу сказать: «Прости...»  
Но сквозь года и версты  
Не услышишь  
И вот теперь  
Изведав столько бед  
И роком злым  
Любим и охраняем  
Я говорю  
Но только не тебе  
А в стылый сумрак  
Горечь слов роняя  
Их слышит путь  
Каким, устав шагать  
Уж столько лет  
Влачусь я одиноко  
Их слышит ночь  
Да мрачная тайга  
И ветра вой  
Что бьется в наледь окон  
И ты — в глазах...  
Усталость рук скрестив  
Стоишь

И время образ твой колышет  
И я, хрипя  
Кричу тебе: «Прости!..»  
Но с каждым годом  
Тише, тише, тише...  
(Прощеное воскресенье)

\*\*\*

Перед снегом, еще не упавшим  
Перед страхом к размытым ночам  
Я стою над бегучестью пашен  
В предпоследних прощальных лучах.  
Свет вечерний щемящ и отчаян  
На истоптанных днях октября!  
Неужели земные печали  
Так когда-то во мне отгорят  
И сотрутся — Ни пыли, ни боли  
Ни мольбы  
Устремившейся ввысь  
Над озерами желтых околиц  
Над землей  
Где без нас обошлись.

\*\*\*

Торжественно. Людно. Пустынно  
Ни слова, ни звука в ответ  
Россия, родимая, стыну  
Метелит в бурьяне былье  
И в снежную тонет пустыню  
Прощальное Слово мое.

С детством и юностью, которых не было, — это отдельная тризна, прощание отдельное. А еще есть прощание посвящением. Отдельным людям он посылает свое финальное, адресное «прости»... В книге «Обугленные веком» их особенно много — Сидельникову, Громову, Оботурову.

Дымя, мимо изб, мимо пашен  
Раскатно грохочет состав  
А юность мне машет и машет  
Тревожно на цыпочки встав  
В бушлате, худая-худая  
Как в послевоенном селе  
Наверное, знает — куда я,  
Глядит обреченно вослед.

### ***Галине Старовойтовой***

Говорят, такого не бывало  
Чтоб Россия женщин убивала  
В идеологической борьбе.  
Мы еще не новая Россия  
Мы еще наследники насилья  
Мы еще несем его в себе.

А есть прощание метафорическое. «Я прощаюсь с мальчиком Сопиным (с самим собой, прошлым и чистым)».

Прощание буквальное: Михаил Сопин ВСЕМ — Михаилу Берковичу, Иосифу Письменному, Катерине Большой.

«Приближаясь к концу жизненного пути, благодарю мировую мысль (компьютер) и Родину — компьютеризация обеспечила мне возможность встретиться с мировоззренчески близкими мне друзьями (выйти из глухой блокады неизвестности), а государство терпело, не добило меня раньше времени. Михаил Сопин».

### ***Михаилу Берковичу***

«Больше радости или печали? И с высоты такого понимания хотелось бы встретиться и больше не разлучаться. Думаю, мы до этого доживем».

«... Я был сжавшимся существом, на котором обрывали кожу вместе с мясом. А потом встретился с тобой, Миша. Оркестр указывает адреса, по которым можно найти близких по духу».

Это праздник, торжество в хорошем смысле — компьютерная карусель».

«Ты сказал намного больше, чем написал, я это чувствую. Наверное, каждый нищий был бы польщен таким отношением... Живем на одной земле, одними радостями и печалью, и просто обречены на то, чтобы слышать друг друга»

«...Через великий страх подавления человек приходит к тому, о чем он думает и пишет».

«...Нет личной позиции, но есть позиция личностей. Это перетекающие уровни: усилия одного действуют на уровень другого. Один кричит — другой откликается».

Помнишь, у меня стихотворение?

«Из далей харьковские клены  
Сквозь сумрак полувековой  
«Вставай, проклятьем заклейменный!» —  
Шумят над белой головой...»

Скажи, что это стихотворение для меня главное. Кто, откуда, почему кричит...»

### **Иосифу Письменному**

«Человек так устроен: в нем один ограничен минимумом, другой стремится к максимуму. Он в застегнутом состоянии, а хочется сразу большого. А если его положили, как одуванчик, на ладонь и показали миру — зазвучит мировая симфония. Жизни отдай всё, смерти поможет мгновение. Есть секунда, мгновение — свернуть от могилы в сторону — сверни. Здоровья тебе и твоим близким на ближайшие 50 лет. Жили не жлобами и уйдем просветлённые»

### **Дине**

«Люди плачут от горечи, а заплакать от радости встречи — это счастье. Заплакать от любви к поэзии, человеку — самоочищение. Искать в себе то, что ждет встречи — помочь. Поделиться. Не каждая слеза горькая, не каждая — полынь».

### **Гале и Сереже Щекиным**

Присматриваясь к власти и судьбе,  
Так часто я отказывал себе  
В любви и дружбе, капельке тепла.  
Земная жизнь сквозь пальцы протекла.  
В замерзшее окно гляжу. Молчу.  
Глаза туманит  
Тусклый свет бывшего.  
Как мало вас, кого обнять хочу.  
Без слез. За все,  
Не обронив ни слова.

\*\*\*

Когда человек видит, чувствует приближение своего ухода — он прощается. Когда видит падение светлых понятий — он с ними прощается. Когда видит гибель сотен тысяч — с ними хочет проститься, но они не уходят. Остаются в нем.

Вот в первой книге, которая предвещала некий свет, — с чем он прощается в ней, когда судьба только разворачивается? А не потому ли, что это предвидение трагедии? Трагедии непретворённости, невозможности более масштабного высказывания, наконец, трагедии всего, над чем человек не властен.

Потом пришел час прощания с Сопиным.

Сопин бросил всех нас 11 мая 2004 и ушел навсегда...

Было новое кладбище в Козицино и торопливо выпитый коньяк на вспученной от ужаса холодной глине... И бессильные рыдания перед могилой, почему-то коньяк дали в пробирке, не было чашки... Перед фактом ухода этого человека сникла даже неприязнь его коллег, и мне позволили говорить. Это всё равно что говорить на дыбе. Я задыхалась и несла бред.

Потом были мрачные, просто жуткие поминки на квартире Наугольного, закончившиеся милицией, как потом рассказывали. На литературной студии об этом говорить нельзя, но я, глотая ком, долго говорила о злости человеческой и гражданской. Человек же бывает обижен близкими, а бывает — страной, и в чем разница? А в том, что когда близкие (либо чужие) — они ранят конкретного человека, а страна — самого творца. Так как творец не только от себя говорит, а от тысяч, миллионов. Почему одним это дано, а другим нет — не знаю. Но вы сравните его первую книжку «Предвестный свет» и четвертую «Обугленные веком». Если в первой он размышляет о будущем, и она полна светлой тревоги, то во второй (четвертой) он судит всех и вся, полосует направо-налево, приговаривает и человека, и время. Когда же наступает момент готовности говорить стране «ты»? Когда дух в нищем теле ревет. Когда человек от своих личных страстей переходит к вселенским.

И сейчас поэты не могут говорить стране «ты», они пишут каждый о своих трусах, ни у кого душа не болит за всех.

Он иногда снится мне живой, с запахом дешевых папирос, иногда я ему что-то говорю резкое, потому что когда-то хотелось говорить наравне... Но он, отвернувшись от меня, неподвижно смотрит в окно, он меня больше не слышит.

*Галина Щекина. Вологда, 2016. dailapy@yandex.ru*

## НА СТИХИ МИХАИЛА СОПИНА

На стихи Михаила Сопина в разное время были написаны песни абсолютно разными и непохожими друг на друга людьми. В записи я слышала песни под гитару от самого автора (например, «Тополек»). Высокой оценки заслуживают песни на стихи Сопина, положенные на музыку и исполненные Владимиром Громовым. В них есть та грустная лирика, с которой их пел и сочинял Сопин. От вдовы Татьяны Сопиной ко мне попали записи песен на стихи Сопина, принадлежащие Александру Матюхину. Одну сочинил Игорь Захаров (Череповец). Одну песню слышала от Валерия Попова — «Заросли блиндажи». Два текста положила на музыку сама. Чтение стихов Сопина самим автором было включено в 3-й диск «Утренних стихов». Это стало возможным после того, как мне в руки попали записи передач областного радио серии «Земляки» (автор Николай Коробов).

Заросли блиндажи той войны  
Поржавели былые преграды...  
Спит в канаве защитник страны —  
На груди боевые награды.  
Сон и явь — рукопашный удар,  
Правый берег и горсточка взвода,  
И пристрелянный мертвый плацдарм,  
И днепровские красные воды...  
Отмытарствовал, отвоевал  
Не шагал на Победном параде  
Был в Потсдаме сражен наповал  
И — посмертно представлен к награде  
А вторично в засаде убит  
В побегушке из лесоповала  
Смерть по жизни водила как гид  
Приполярная ночь отпевала  
Спит солдат, много снится ему  
Небо чистое и голубое-  
Снятся годы, где грел Колыму  
Не остыв от последнего боя!



\*\*\*

Иду между скопищ и сборищ  
 Глупцов и пророков.  
 Иду издалека — бог знает,  
 В какое далеко.

И темную ношу несу я,  
 И светлую ношу,  
 И друга в печали  
 И недруга в скорби не брошу.

Под таинством неба иду я  
 По таинству поля  
 Людская неволя во мне и  
 Господняя воля...

\*\*\*

На холме три тополя, три ракиты  
 Три тропинки во поле перевиты  
 Первой шел я в ночь свою,  
 Средней — в счастье,  
 Третьей — в землю отчую  
 Возвращаться.

Не со мной ли родина поседела  
 Всё, что было сказано, —  
 Значит в дело,  
 Всё, что было сложено, —  
 Значит вместе.  
 Отслужила Родина  
 Злую мессу.

Не царю небесному, не владыке,  
 А земному деспоту — дичи дикой.  
 Вместе складно хлопали,  
 Врозь — убиты.  
 На холме три тополя,  
 Три ракиты...

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Горькая поэма.....	3
Речь о реке.....	9
Чтобы временем не смыло.....	9
Поток первый. Почему?.....	10
Поток второй. Солдатство.....	15
Поток третий. Кого и за что.....	17
Поток четвертый. Через черту.....	22
Поток пятый. Рывок из дискомфорта.....	27
Эхо с берега.....	33
Крик и молитва.....	68
Попытки комментировать.....	76
«Нет, жизнь моя не горький дым».....	86
«Пока живешь, душа, люби!..». Полюса.....	93
Подходы к творчеству Сопина в 2011 году.....	99
Прощание Сопина.....	102
На стихи Михаила Сопина.....	111

**Галина Щекина**

Речь о реке

Посвящается поэту Михаилу Сопину

*Редактор* Любовь Аверкиевна Молчанова

*Фотограф* Лариса Юрьевна Новолодская

*Корректор* Зоя Сергеевна Елизарьева